



**Дружба  
народов**

**5/2021**



# В номере:

## Энергия боли

Повесть Ольги ПОГОДИНОЙ-КУЗМИНОЙ «Птицы войны» — вариация на тему советского детектива — о событиях вокруг Олимпиады 1952 года в Хельсинки. Буквально накануне произошел значимый международный инцидент — над водами Балтики, у западной границы СССР, исчез шведский самолет-разведчик. В Хельсинки стекаются секретные агенты разных стран, в числе которых и агент американских спецслужб Сайрус Крамп, в годы войны занимавший видный пост в Гестапо. Среди его преступлений — расстрел немецких и французских коммунистов в июне 1941 года. Его разоблачает советский спортсмен Алексей Нестеров. Но это только один из начальных эпизодов холодной войны, которая продлится не одно десятилетие и не будет остановлена даже с распадом СССР.

## Подавляя инстинкт войны

Рассказы Игоря КОРНИЕНКО «Месопотамия» и Анны ПЕСТЕРЕВОЙ «Ящик, ящер, у щит» — о неизживаемых последствиях другой войны — Чеченской. Когда жертвами ее становятся и федералы, и мирные жители, одинаково казнящие себя собственной памятью. Невыдуманные рассказы Александра РЫБИНА вырастают из впечатлений, полученных на Балканах, в Сирии и Иракском Курдистане, — это военные сюжеты, которые редко освещают масс-медиа.

## Памяти беспримерной отваги

«Женщины, зачастую умиравшие от голода и пыток, проявляли храбрость и дерзость. У некоторых из них была возможность спастись бегством, но они ее отвергли, а иные даже предпочли вернуться в это пекло и сражаться. Меня преследовал вопрос: как бы поступила я в подобной ситуации? Боролась бы или убежала?..» — признается Джуди БАТАЛИОН в книге «Свет грядущих дней», размышляя об историях женщин — участниц Сопротивления в гитлеровских гетто. В этом номере — фрагмент книги в переводе с английского Ирины Дорониной.

## Говоря о войне

Внуки солдат Великой Отечественной — поэты Ян БРУШТЕЙН, Иван ВОЛОСЮК и Александр ОРЛОВ пытаются представить «то, что прошли отцы и деды/ на главной, страшной той войне».

## «Как дышишь — пой!»

«Беззащитный, полный музыки Слова, живший всегда в пламенных метафорах своего бытия...» Памяти Рамиса РЫСКУЛОВА, великого киргизского поэта и художника, посвящена публикация его удивительных верлибров в переводах Вячеслава ШАПОВАЛОВА.

На нашей вклейке — картины Рыскулова и эссе Владимира ЛИДСКОГО о его наивной живописи.

## Провинцией оказывается вся страна

Писатели Александр МЕЛИХОВ и Олег МАКОША в диалоге «Здесь и там. Письма из провинции в провинцию» сопоставляют век нынешний с веком минувшим.

# Дружба народов



*Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический журнал*

*Основан  
в марте 1939 года*

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,  
журнал «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12

**E-mail:** [dn52@mail.ru](mailto:dn52@mail.ru),  
**Сайт журнала:**  
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский  
полиграфический комбинат»,  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;  
[www.oaompk.pf](http://www.oaompk.pf) тел.: (495)745-84-28;  
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического  
брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.**

Сдано в набор 20.03.2021.  
Подписано в печать 26.04.2021.  
Формат бумаги 70 x 108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.  
Заказ 8192. Цена свободная.

## *Редакционная коллегия*

*Главный редактор* Сергей  
НАДЕЕВ  
Ольга  
БРЕЙНИНГЕР  
Ирина  
ДОРНИНА

*Ответственный секретарь* Елена  
ЖИРНОВА

*Первый заместитель главного редактора* Наталья  
ИГРУНОВА

Галина  
КЛИМОВА

Владимир  
МЕДВЕДЕВ

*Заместитель главного редактора* Александр  
СНЕГИРЁВ

## *Редакционный совет*

Сухбат  
АФЛАТУНИ

Муса  
АХМАДОВ

Ольга  
БАЛЛА

Дмитрий  
БИРМАН

Денис  
ГУЦКО

Иван  
ДЗЮБА

Валентин  
КУРБАТОВ

Ольга  
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид  
НАГИМ

Илья  
ОДЕГОВ

Кнут  
СКУЕНИЕКС

Сергей  
ФИЛАТОВ

Ренат  
ХАРИС

Вячеслав  
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

Иван ВОЛОСЮК. Масштабы тропы муравейной. <i>Стихи</i> .....	3
Ольга ПОГОДИНА-КУЗМИНА. Птицы войны. <i>Повесть</i> .....	6
Александр ОРЛОВ. Говоря о войне. <i>Стихи</i> .....	55
Владимир ЛИДСКИЙ. Умри-воскресни. <i>Повесть</i> .....	58
Ян БРУШТЕЙН. Группа риска. <i>Стихи</i> .....	77
Игорь КОРНИЕНКО. Месопотамия. <i>Рассказ</i> .....	79
Анна ПЕСТЕРЕВА. «Ящик, ящер, я щит». <i>Рассказ</i> .....	90
Игорь МАЛЫШЕВ. Память моя, мошек рой. <i>Стихи</i> .....	98
Андрей ВОЛОС. Мешалда́. <i>Книга семейных рецептов. Окончание</i> .....	101
Анна МАРКИНА. Жёрдочка-человечек. <i>Стихи</i> .....	164
Сергей МАСЛОВ. Два рассказа .....	168
Екатерина КУДРЯВЦЕВА. Мелкая моторика рук. <i>Рассказ</i> .....	177

**ПРОЗА.ДОС**

Джуди БАТАЛИОН. Свет грядущих дней. <i>Неизвестные истории женщин — участниц Сопротивления в гитлеровских гетто. С английского. Перевод Ирины Дорониной</i> .....	182
Александр РЫБИН. Подавляя инстинкт войны. <i>Рассказы</i> .....	202

**КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ**

Пой, манасчи! Памяти Рамиса РЫСКУЛОВА <i>Вступительное слово и переводы с киргизского Вячеслава Шаповалова</i> .....	220
---	-----

**MODUS VIVENDI**

Олег МАКОША, Александр МЕЛИХОВ. Здесь и там. <i>Письма из провинции в провинцию</i> .....	225
--	-----

**ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ**

«Господи, вспомни, ведь это же я...». <i>О сборнике стихов Ефима Бершина «Мёртвое море» размышляют Андрей ПЕРМЯКОВ и Нина ГАБРИЭЛЯН</i> .....	238
---	-----

**КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ**

Дмитрий СТАХОВ. «Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые...» (Павел Полян. «Если только буду жив...») .....	248
Николай АЛЕКСАНДРОВ. Интересная Фаина и нарративные практики (Алла Хемлин. «Интересная Фаина») .....	252
Сергей ШАБАЛИН. Время тревоги нашей (Геннадий Кацов. «На Западном фронте: Стихи о войне 2020 года») .....	255
Ольга ГЕРТМАН. Не путайте мурмурацию с мурмуригом (Словарь культуры XXI века. Первое приближение / Сост. Игорь Сид) .....	258

**БИБЛИОНАВТИКА**

Ольга БАЛЛА. Свои претензии адресуйте дьяволу (А.Иванов. «Тени тевтонов») ...	262
---	-----

**ПРАВИЛА ИГРЫ**

Борис МИНАЕВ. СКТВР и другие города .....	268
---	-----

<b>SUMMARY</b> .....	272
----------------------	-----

*Иван Волосюк*

## Масштабы тропы муравейной

\* \* \*

Человек державой съеден,  
брошен под ноги судьбе,  
балалайки и медведи  
на его живут горбе.

За его душой наружка  
смотрит синей красотой,  
речь его — смешной Петрушка  
или, может, несмешной.

В остальном больное тело  
заберёт военкомат,  
чтобы музыка звенела,  
как невидимый собрат.

Как неведомый защитник,  
тихий ангел лёгких ног.  
Этот день тебе засчитан,  
новый сразу настаёт.

\* \* \*

За что согласился в нездешнем краю  
шагать балалаечным строем?  
Ушёл из страны, потому что люблю  
величье её никакое.  
Изнеженный ум захотел тетивы,  
а лука ему не берите.  
Но шапка побольше моей головы,  
зачем мне тогда ленинградские львы  
и злое стекло Moscow city?

---

*Волосюк Иван Иванович* — поэт, литературный критик. Родился в 1983 году в городе Дзержинске Донецкой области. Окончил филологический факультет Донецкого национального университета. Публикации в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Юность» и др. Участник Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Дипломант XVII Международного литературного Волошинского конкурса. Живет в Подмосковье.

Он эти богатства вражине снесёт,  
закусит тушёнкой трофейной.  
Кто был человеком, тот вряд ли поймёт  
масштабы тропы муравейной.

Отсюда такие открыты виды,  
где мы копошимся у края.  
Да, будут слова — но они не слышны,  
да, будут стихи — но они сочтены,  
не больше, не меньше — я знаю.

\* \* \*

...сердце просит музыки вдвойне

*В.И.Лебедев-Кумач*

Там спросили меня: не видал ли мужей киммерийских  
в той степи, где всегдашний туман расстилается низко?  
Я смотрел в темноту. Оставался последний блокпост,  
но опять я не знаю ответа на вечный вопрос:  
что КамАЗы везут: соболей или беличьи шкурки?  
Пробивая строку, лишний гласный застрял в штукатурке.

Там воитель, перстом указав на задымленный юг,  
всё хотел разузнать, кто живёт в этом диком краю,  
где фугасный анапест, хорей с обеднённым ураном.  
Кто на ощупь идёт и губами касается крана,  
кто прикинулся мёртвым, чьё тело лежит на земле,  
сам теперь вещество, но поэзии просит вдвойне?

Плоть — космический мусор, ошмётки взорвавшихся звёзд,  
не смотри в микроскоп, ничего не увидишь от слёз.

\* \* \*

В бесплатном поезде пора  
лететь, куда глаза,  
там будет в августе жара  
и в феврале всегда.

Где Виктор Цой троллейбус пел,  
Высоцкий пел дурдом,  
я злым молчанием смотрел  
и жил иным трудом.

Но с нашей улицы, как снег,  
убрали таксофон,  
он был мне правом на побег,  
но после отменён.

Осталось космосом дышать,  
что русский, что еврей,  
и тонким телом не мешать  
закрытию дверей.

\* \* \*

Маленький мальчик по полю гулял,  
он анархист, экстремист и вандал,  
смотрит свои запрещённые сны,  
носит ботинки большой глубины.

Мальчику русские птицы поют,  
лысину сверху его узнают.  
Думают пташки: не может придурок  
в городе места найти для прогулок.

Так продолжалось не год и не два,  
мальчик забыл человечьи слова,  
вот он идёт и щебечет, как встарь,  
чижиков мелких нехитрый букварь.

«Чу!» — это пробует голос пока он,  
«Фыть!» — обретает звучание в рост.  
Скоро всё кончится, думай о малом,  
пой этот мир, задыхаясь от слёз.

*Ольга Погодина-Кузмина*

## ПТИЦЫ ВОЙНЫ

*Повесть*

*Благодарность за идею, тему и материал автор выражает Юрию Суходольскому.  
Посвящается Феликсу Дмитриевичу Сутырину.*

### Глава 1. ЧУЖАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Завороженный обыденностью смерти, Ким пристально разглядывал крошечные розовые ладони, младенческие пальчики и коготки, открытые, словно бы удивленные черные глаза погибшего зверька, его шкурку с серебристым отливом. Маленькое существо, словно вылепленное искусным игрушечным мастером, было прихлопнуто железной скобой ровно поперек невесомого тельца.

Мальчик почувствовал, как слезы подступают к глазам. Вчера, помогая дяде Лёше устанавливать мышеловку, он не успел задуматься о том, что мышь и правда может в нее угодить, и не предполагал, что зверек окажется таким прекрасным.

— Попалась? — дядя Лёша вышел из ванной, вытирая полотенцем голову. Ким перевел взгляд на крепкие плечи, на шрамы от ранений на груди отчима.

Перед ним, героем войны, было стыдно распускать нюни, и Ким изо всех сил попытался сдержать рыдание. Но сухой комок в горле не давал вздохнуть, и что-то сильное, неодолимое, распирало грудь.

— Ну, ну, — Нестеров потрепал мальчика по волосам. — Давай-ка выкинем ее в ведро.

Но Ким уже рыдал, стыдливо уткнувшись лицом в локоть, сотрясаясь всем своим худеньким телом.

Алексей опустил на табурет, чтобы быть вровень глазами с десятилетним Кимом.

---

*Ольга Погодина-Кузмина* (род. 1969) — писатель, драматург, сценарист. Окончила Санкт-Петербургскую Академию Театрального Искусства по специальности театроведение. Автор поставленных на театре пьес: «Мармелад», «Сухобезводное», «Толстого.нет», «Глиняная яма» и др. Автор нескольких романов, в том числе «Ласковая вечность» (2016), «Герой» (2016), «Уран» (2019).

Лауреат драматургических премий «Новая драма» (2004) и «Евразия» (2007), а также кинопремий «Золотой Феникс», «Золотой жасмин» и др. Финалист литературных премий «Нонконформизм» и «Национальный бестселлер» (2013). Живет в Санкт-Петербурге.

— Ну, развел мокрое дело... Мне ведь тоже мышку жаль. Убивать — работа нелегкая.

Взял из кармана пиджака, висящего на спинке стула, свой отглаженный, одеколоном пахнувший платок, протянул мальчишке.

— Но есть в жизни правило, Ким: на чужую территорию не заходи. Если ты мышшь — живи в поле, в лесу, мы тебе не причиним вреда. А раз пришла в наш дом, не обессудь. Тут уж мы с тобой как с оккупантом... Вроде как с Гитлером, понимаешь?

Утирая лицо, мальчик кивнул. Нестеров открыл мышеловку, сбросил зверька на старую газету, завернул и выкинул в мусорное ведро. Накинул старую куртку и пошел выносить мусор во двор.

Вернулась Анна, мать Кима, — бегала снимать мерки к заказчице, принесла с рынка свежих яиц, плетенку с маком. Сели завтракать.

Вчера Алексей за вечерними хлопотами забыл, а скорее, не стал торопиться сообщать вроде бы и важную, но в неопределенность будущего направленную новость. Однако утром появилось стойкое чувство, что предназначенное свершится именно так, как он предполагал, словно бы за ночь стрелка его жизненного компаса выбрала направление и материя времени оформилась в непреложный факт.

Он проговорил, словно между прочим:

— Помнишь, Лысогоров — кучерявый такой, недотепа? Руку вывихнул на тренировке!

Анна повернулась к Нестерову. По ее лицу, словно тень пролетевшей птицы, скользнула тревога.

В черных глазах этой молчаливой, бледной, хрупкой, словно подросток, женщины обитала целая стая трепетных птиц: беспокойство, тревога, ожидание новой какой-нибудь беды. Нестеров знал, что птиц не обманешь улыбкой или показной беспечностью. Нужно быть честным, не фальшивить даже из самых добрых побуждений, все выкладывать начистоту.

— Срочно ищут ему замену... Если не найдут, придется ехать мне.

Ким, уже забывший о недавних слезах, с аппетитом уплетал бутерброд.

— Куда ехать, дядя Лёша?

— На Олимпиаду, в Хельсинки.

Анна молча, непонимающе моргала, словно пыталась перевести слова Нестерова с чужого языка. А Ким задохнулся от радостного изумления.

— На Олимпиаду!? Вот прямо сейчас?

— На той неделе. Сначала на базу в Эстонию, а оттуда...

Обхватив прозрачными ладонями чашку с синими цветами — почти в цвет голубым жилкам на ее руках, — Анна сделала несколько глотков остывшего чая. Вскочила, начала суетливо убирать посуду со стола.

Голос Кима звенел счастливым отчаянием.

— Вот здорово! В школе скажу — ведь не поверят! Дядя Лёша! Ты будешь там стрелять?

— Да, Ким, буду стрелять... А в школе скажи — я, как вернусь, к ним сам приду, все расскажу, пускай не сомневаются.

Нестеров поднялся, взглянул на Анну, пытаюсь продолжить молчаливый разговор с тревожными птицами. Женщина отвела глаза.

\* \* \*

Алексей Нестеров, тридцати восьми лет, мастер спорта, инструктор стрелкового клуба, войну окончил в звании капитана, начальником батальона в войсках связи. Был трижды ранен, имел боевые награды.

Внешность свою считал самой обыкновенной — темно-русые волосы, серые глаза, рост чуть выше среднего, руки и ноги на месте. Внимание слабого пола к своей персоне объяснял вполне понятным дефицитом мужчин в послевоенное время. Глазастые сестрички в медсанчасти, разбитные хохотушки в рабочих бригадах, томные буфетчицы с начесами и совсем юные, вошедшие в пору уже после войны, дочери партхозактива — Алексей мог выбрать любую. Но полгода назад, под новогодние праздники, в жизнь его случайно вошла и осталась рядом неприметная мать-одиночка с вечно опущенными ресницами и плотно сжатыми губами.

Жалел ее? Да. Хотел отогреть, заслонить собой от призраков страшного прошлого. Привязался к ее парнишке, видел свою общественную задачу в том, чтобы Ким вырос хорошим, правильным человеком с душой и совестью. Да что лукавить, Алексей и сам питался их нерассуждающей беззаветной любовью, вокруг себя выстраивая стену. Потому и выбрал Анну, что она ничем не напоминала ту давнюю, виной и болью застрявшую в сердце, погибшую в двадцать лет...

Нестеров думал об этом, пока шел по Гоголевскому бульвару на спортивную базу, чтобы узнать решение комиссии.

После дождя выглянуло солнце, осветило мокрую листву. Москва нарядная, мирная, сытая. Пенсионеры играют в шахматы на скамейке. С лотка продают мороженое — вафельные брикеты в пергаментной бумаге. Гуляют женщины с колясками. Взявшись за руки, парами, идут-щебечут школьники, не знавшие войны. Даст бог и не будут знать.

Мужчина в строгом пиджаке, высокий, седоватый, в роговых очках, вдруг привстал со скамейки.

— Товарищ Нестеров! Видел вас на базе... Вы на комиссию?

— Да.

— Пойдемте, я провожу. Меня зовут Серов, Павел Андреевич, спортивный клуб «Динамо». Назначен в руководство тренерского штаба, заведующий по общим вопросам. Алексей протянул руку.

— Нестеров, Алексей Петрович. Спортивный клуб Советской Армии.

Вместе пошли вверх по бульвару.

— Посмотрел вашу анкету. Войну прошли. Войсковая разведка, операции в тылу противника... А до войны успели послужить в Германии. И языками владеете.

Нестеров уже догадался, что за человек его поджидал на бульваре. Но куда повернет разговор, еще не понимал.

— Алексей Петрович, вы включены в состав сборной. Поздравляю.

Нестеров кивнул.

— Благодарю.

— Не буду говорить красивые фразы... Сами понимаете — в Хельсинки под видом дипломатов, журналистов съедутся сотрудники всех западных спецслужб. Возможны провокации, вербовки. Да что угодно может быть!

Серов достал серебряный портсигар с красивой чеканкой — Кремль, Красная площадь. Открыл и протянул Нестерову. Алексей мотнул головой.

— Спасибо, бросил полгода назад. Сразу предупреждаю — доносить на товарищей не буду, не приучен.

Серов остановился, чтобы прикурить папиросу.

— Неравнодушных граждан у нас хватает, Алексей Петрович, даже с избытком... Тут другое дело. — Серов выдержал паузу. — Впрочем, поговорим в спокойной обстановке. Сможете зайти к нам в приемную, Кузнецкий мост, 22? В понедельник, около шестнадцати ноль-ноль. Там коммутатор, мой служебный 30—25. Давайте, я вам запишу.

Александр Орлов

## Говоря о войне

\* \* \*

Я говорил в тиши с пустой дорогой,  
Что есть во мне, и в ней, и в нас двоих.  
Она казалась мне вдовой убогой,  
Деливший всех на мёртвых и живых.

Но кто она? Истоптанная пажить?  
Иссохшая от старости тропа?  
Она покой готова взбудоражить,  
На ней коряги, ямы, черепа.

Она ведёт куда? Кто дал ей право  
В крутых извилах за собой вести?  
Она грязна, обрывиста, лукава,  
На ней пропали воины и вожди.

И я иду по ней, и шаг за шагом  
Растрчиваю время, а потом  
За лесом, за полями, за оврагом  
Раскрытый вижу настезь отчий дом.

\* \* \*

Сень родовых крестов  
Слышу зовёшь, зачем?  
Мне не найти слов,  
Будто бы глух и нем.

В душу ко мне не лезь,  
Что тебе до меня?  
Мольв, почему я здесь,  
Может, моя родня?

Скрыта среди домовин,  
Превращена в труху,  
Что тебе за помин?  
Нужен как на духу.

Выли меж круч ветра,  
Прошлого слышу зов,  
Это в золе костра  
Сень родовых крестов.

---

*Орлов Александр Владимирович* — поэт. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище №1 им.И.П.Павлова, Литинститут им.А.М.Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории в ГБОУ Школа 1861 «Загорье». Автор шести книг стихов и трёх книг малой прозы. Лауреат многих литературных премий. Живет в Москве.

*Бабье горе*

В ночь я сбился с пути  
 И зашёл в крайний дом,  
 Запах мёда, кутыи  
 Расползается в нём.  
 И старушка Яга  
 Накрывает на стол,  
 Говорит: «Ходока  
 Господь Бог, знать, привёл.  
 Что стоишь иль не рад  
 Что попал на помин?  
 Это древний обряд,  
 Ты сворачивай блин,  
 Помяни горькой всех,  
 Не забудь и своих —  
 Пей до дна, то не грех.  
 Ты остался в живых,  
 И поэтому знай:  
 За тобою должок,  
 Ну, милок, выпивай,  
 Ты не свалишься с ног.  
 А должок твой таков:  
 Вплоть до Судного дня  
 Поминай мертвецов,  
 Лица в сердце храня,  
 Стоек прошлого вкус,  
 Только это твой крест.  
 Вижу я: ты не трус.  
 Если вдруг надоест,

Приходи ещё раз,  
 Созову вековых,  
 Чтоб услышал их сказ,  
 И твой взгляд не потух,  
 Чтоб ты понял, внучок,  
 Что такое война,  
 Сердце слёзно прожёт  
 Бабьим горем сполна,  
 Чтобы тысячи звёзд  
 Твой забрали покой,  
 Чтоб ты встал в полный рост  
 С неушедшей войной.  
 И на ней ты пропал,  
 Скрылся, сгинул, погиб,  
 И у всех, кто так ждал,  
 Голос мигом охрип,  
 Чтобы годы прошли,  
 И ко мне на помин  
 Не пришёл весь в пыли  
 Нарождённый твой сын».  
 Я сидел и молчал,  
 И не брал меня хмель.  
 Я пошёл на прогал,  
 В ближний к звёздам тоннель.  
 И встречали меня,  
 Говоря о войне,  
 Стражи Судного дня  
 В солнцеликом огне.

\* \* \*

Наступит вскоре паутины лёт,  
 Покажется, что лето здесь напрасно  
 Связало мои дни крестообразно.  
 Они останутся, когда оно уйдёт  
 И будет на сырых дорогах грязно.

И на прощальный сев озимой ржи  
 Туманы приведёт летопроводец,  
 В поля заступит время безработиц,  
 Коротких дней и холода души,  
 И звёзд, сковавших до весны колодец.

И буду говорить с душою вслух,  
 И в ожиданьи скорого ответа  
 С печальною улыбкой домоседа  
 Почувствую тепло весны, и вдруг  
 Вернётся в сердце неземное лето.

\* \* \*

Чародейные речи  
О грядущем отлёте  
Журавлиное вече  
Заведёт на болоте.

Прокурлыкают птицы  
Тростнику и осоке,  
Одиноким влюбиться  
Уготовлено в сроки.

Эти сроки настали,  
Но выходят, однако,  
В листопадном запале  
По следам полумрака.

Посбиваются клином  
Журавли над землёю,  
Я небесным тишинам  
Своё сердце открою.

Владимир Лидский

## Умри-воскресни

Повесть

...ее вывели из дворца и через весь Кремль повлекли к какой-то дальней стене, — за спиной ее шли два стрелка с невысказанно длинными *винтарями*; шинели стрелков хлопали на ветру, и оба они кашляли в кулаки, красные от мороза, обветренные и задубевшие; поодаль шли двое в штатском, — с повадками племенных вождей, они бубнили бесцветно, перебивая друг друга, — в их голосах слышала тетя София отчаяние, злобу и неизбывное горе, — бубнили так, что слов было не разобрать, лишь звуки-окатыши сыпались с обветренных губ, и тетя София нервничала, вслушиваясь в раздраженную перебранку начальников и сухой кашель стрелков, ветер выл, гоняя поземку, несущуюся, как сор по маслянистым спинкам обледенелых булыжников, жег плечи, ноги и онемевшее на морозе лицо, тетя София шла, время шло, вечность шла, но стояла на месте, и смерть шла рядом с тетей Софией, тетя София шла и почти равнодушно думала: убьют! убьют почем зря, ни за что, без вины... ну, какая моя вина? кто может воскресить почившего? я же не Господь... Он мог, Он сказал: *талифа куми!* а начальнику синагоги сказали те, кто хотел предварить Его: не утруждай Учителя, дочь умерла! но Он взял ее за руку и сказал: талифа куми! что я могла сказать?.. я воскрешаю наложением рук, но вселенная спит, повернувшись ко мне глухим ухом, — трижды могу сказать я: талифа куми! но уснувший навеки уже не проснется... никто не воскреснет, ибо есть причины распада белка... меня убьют и никто не скажет: талифа куми! ибо не Господь воскресил дочь Иаира, а цепь случайностей, причудливо сошедшихся пазлов, велений судьбы, прихотливо уронившей свои песчинки в строгом порядке, который один только и приводит к чуду! я умру и памяти по мне более не будет в мире... и начальники, шедшие за тетей Софией, те самые, которые с повадками племенных вождей, перестали бубнить, перейдя на шипение, и, как две змеи, стали шипеть друг другу шумным шелестящим шепотом, едва сдерживая яд в своих ядовитых зубах; стрелки кашляли, племенные вожди шипели, ветер выл, поземка мелась, и стаи

---

Владимир Лидский (Михайлов Владимир Леонидович) родился в 1957 году в Москве. Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», сборников стихов «Семицветье» и «По ту сторону зеркала», нескольких киноведческих книг. Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новый журнал» и др. Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Живет в Бишкеке. Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 5.

сухих замороженных катышков перебежали с места на место; тетя София плелась ко своей погибели и думала: меня воскресят, меня еще воскресят, ибо не зря сказано — талифа куми! я воскресну, меня не забудут, расскажут обо мне, и я буду жить дальше назло и в пику простуженным всмерть стрелкам и начальникам с повадками племенных вождей... ее подвели к стене и приказали стать противу стрелков, она стала, и один из начальников приказал: товсь! она внезапно замерзла, оледенела... так замерзла, как замерзает человек, рухнувший в мерзлоту, и тысячи ледяных искр пронзили все ее существо, сковали мозг, скрутили параличом тело... сердце ее остановилось, и она подумала... что могла подумать бедная моя тетя София? ничего не подумала, а просто в ужасе закрыла глаза и... вовсе не желая того, увидела: день окончания гимназии, и уже тепло, и ольхи над Лидейкой и Каменкой опушились зеленоватым, и она в тот день была в выпускном — в прекрасном белом платье с пелериной и белым бантом, белые нарукавники — выше локтя, — вот она идет по Виленской в сторону костела в окружении однокашниц, это такая, как говорят, стайка легких птичек, беззаботных, веселых, счастливых от сознания того, что жизнь началась, и уже можно... что можно? все! можно все! и можно просто идти навстречу дню, солнцу, молодому лету и прекрасным юношам в сюртуках, жилетах или рубашках навывпуск, и какие же юноши! высокие, смуглые, огнеглазые! перейдя Виленскую возле костела, девочки подходят к шикарному «Гранд-отелю» Беньямина Ландо, — здесь арендует ателье господин Мулер, и это элитное, исполненное аристократического шика место! юные дамы щебечут, ожидая приема фотографа, а тетя София заходит внутрь, становится спиной к заднику, щедро изрисованному южными пальмами, и опирается на ампирный столик, с краю которого стоит псевдоримская ваза с золотыми кариатидами... в руках у тети Софии книга, — это строго запрещенный Рабле, «Гаргантюа и Пантагрюэль», но ведь уже свобода, а господин Мулер и вообще лишен предрассудков! это он дает гимназисткам книгу, толстую солидную книгу, — дабы подчеркнуть степень учености фотографируемых девиц и — снимает, укутавшись в плотный полог, так точно, как укрывается в субботний талит, — вот память, которая ляжет в альбомы и, может быть, останется в чьих-то руках, а может, полежит век, мирно подремывая под обложечным бархатом, и отправится в мусорный бак, угомонившись, успокоившись среди чужого дрязга и праха, и — канет; тетя София бежит между тем домой, на берег Лидейки, где стоит ветхая, но любимая, строенная еще дедом халупка, в которой ждут ее и скучают братья, младшему из которых — два года, он поскребыш, последний сын пожилых родителей, — знали б родители аппетиты эпохи, жрущей младенцев скопом, оптом, не стали б рожать одиннадцать малышей, которые — мечталось им — вырастут и родят внуков; да, мало кто родил внуков, ибо беспокойная была жизнь — сын Богдан погиб на Чукотке, пытаясь осчастливить аборигенов благами Советской власти, сын Саша, скрипач-виртуоз и любимец голландской королевы, чудом уцелел в 1919-ом в ледяном Петрограде, умер в Амстердаме от коварной испанки, сын Авессалом, друг мятежного Кучек-хана, пропал в талышских горах, — все почти дети сгинули в бомбовых воронках эпохи и не оставили будущему малышей, а старики так хотели новых детей! вот и тетя София, бежавшая с Виленской от «Гранд-отеля» Беньямина Ландо, очень хотела своих детей, — привыкнув нянчить братьев-сестер, хотела своего малыша, лучше девочку, с которой можно будет возиться, как с куклой, любить, нянчить, но... не суждено было ей детей, не так что-то сплелось в ее женской сути, — как старался Анджей, любимый пожилой муж ее! — детей не было, но это уже годы спустя; ездили они в Краков, Лодзь и даже Варшаву, да врачи только руками вели, и так дожила тетя

София до конца века, в серьезных уже годах решив наконец не ждать милостей Бога, — попеняла отцу на судьбу, и отец, наведя справки в соседней Хрустальной, велел носить ей думку на животе, а потом — несколько месяцев спустя — убрать думку и носить подушку, на девятом же месяце отец поехал в Хрустальную, одолжив у свояка лошадь с подводой, там, в Хрустальной жила чистая женщина, тяготившаяся детьми, и дети гарантировали ей нищету, вот как раз с месяц до визита отца родила женщина девочку и кормила ее, — отец явился, долго толковал с ней, и она смирилась, — сахарная голова, корзина яиц, большой кусок нанковой ткани и незначительная сумма денег удовлетворили ее скромные желания; договорившись о дне выдачи ребенка, отец вернулся в Лиду, дождался дня, снова одолжил у свояка подводу, взял тетю Софию и в ночь поехал в Хрустальную; женщина, держа ребенка в свивальниках, вышла с крыльца и сказала, обращаясь в пространство: нешто покормить напоследок? но отец, резво спрыгнув с телеги, подошел к женщине, взял младенца и грубо ответил: мать покормит! — так тетя София обрела ребенка, и отец за деньги оформил его, то есть ее — девочку, которую назвали Агнешкой, и Анджей любил дочку самозабвенно, животной какой-то любовью на грани с безумием, трясся над ней, баловал ее и позволял все, что она только хотела, но она ничего не хотела и была равнодушна к жизни, — как птенец, которому не судьба летать, — тетя София, когда дочь явилась, была равнодушна, но держала ее в руках, — Агнешка без остановки вопила, требуя молока, и отец тети Софии пожалел о своем решении в Хрустальной, когда не дал кормить ребенка, — вся семья думала уже, где взять молока, — отец с матерью пошептались, и мать даже хотела дать девочке свои старые и, разумеется, пустые соски, но утром грудь тети Софии надулась и тетя София стала ощущать явственные уколы невидимых иголок, — грудь пухла, иголки кололи изнутри, и тетя София плакала от боли... тут пошло молозиво, и рубашка тети Софии стала мокрой, она все плакала, Анджей метался, но вдруг у тети Софии открылось молоко и она стала кормить; Агнешка стихла и весь день висела на груди тети Софии, покряхтывая, сопя; молока приходило столько, что можно было кормить еще одного, а то и двоих, — все банки, крынки, кастрюльки в доме были полны, и тогда отец позвал знакомую женщину из Полицейского переуллка, у которой не было молока, но был младенец, и она носила младенца, тоже девочку, которую тетя София кормила ради избавления от болей в груди; Агнешка была странная — с каким-то посторонним взглядом, и с рождения смотрела на мать так, будто знала что-то незримое; ее младенчество сделало тетю Софию и Анджея богачами: тетя София носила на шее бронзовое кольцо, найденное когда-то в развалинах замка, и пан Шломо Хоскевич, единственный в Лиде антиквар и редкий знаток старины, на полном серьезе уверял тетю Софию, что кольцо ни больше ни меньше времен Гедимины, а может, и сам князь владел им или некто из его семьи; однажды Агнешка, играясь, схватила кольцо, свисавшее с материнской шеи, и оно изменило цвет; сначала это осталось без внимания, потому что никто не заметил смены цвета, но спустя время Анджей сказал, что кольцо как-то играет, его сняли с нитки и понесли пану Шломо, лавка которого была на Базарной площади возле синагоги; пан Шломо долго рассматривал кольцо в лупу, цокал языком, хмыкал и сказал наконец: оно золотое! — бронзовое, сказал Анджей, вы сами уверяли! — пан Шломо вынул из недр своего стола большой магнит и приложил к кольцу: видите? спросил он, — так ведь и бронза не магнитит, парировал Анджей, — добра, сказал пан Шломо и достал склянку с уксусом, — после двух минут в уксусе кольцо продолжало играть, — не убеждает, сказал Анджей, — добра, снова сказал пан Шломо, роясь в своем

Ян Бруштейн

## Группа риска

\* \* \*

Порой снаряд ложится близко.  
Мне много лет. Я в группе риска.  
Однако ж это не война,  
Не кровь и ярость рукопашной,  
Не смертный чад над бывшей пашней,  
Не перед мёртвыми вина.

Я помню схватки у Амура,  
Где штык был друг, а пуля — дура.  
Мы дрались, как в последний раз.  
И в этой маленькой войнушке  
Не выжил бы ни злой, ни ушлый,  
Ни тот, кто прятался за нас.

И всё ж, друзья мои, и всё же,  
Все наши битвы подытожив,  
Всю боль, живущую в стране,  
Представим в этот День Победы  
То, что прошли отцы и деды  
На главной, страшной той войне.

\* \* \*

Моя родня лежит во рву  
Под городом Лубны.  
Бывает, я во сне реву —  
Последыш той войны.

Там по ночам горит земля,  
Не забывая зла.

Моя еврейская семья  
Бурьяном проросла.

Под ними горя три версты,  
Над ними свет ничей...  
И не приносят им цветы  
Потомки палачей.

---

*Ян Бруштейн* — поэт. Родился в 1947 году в Ленинграде. Работал в областных газетах и на телевидении, кандидат искусствоведения. Автор девяти поэтических книг. Лауреат конкурсов им. Н.Гумилёва, Н.Некрасова и др. Живет в г. Иваново.

### *Полустанок*

Женщина пела на полустанке,  
Голос был хриплым, но вёл он точно.  
Мятая, синяя после пьянки —  
Было ей сладко, и было тошно.

Люди и нелюди пёрли мимо,  
Злые и скользкие, словно мыло.  
Бомжик, в тельнике наизнанку,  
Дал ей китайской тушёнки банку.

Мы же, солдатики-первогодки,  
Время сжигавшие в эшелоне,  
Лили холодную злую водку  
Прямо в подставленные ладони.

Где же мораль? Вот и нет морали.  
Наш эшелон пересчитывал шпалы.  
Мы под гитару всю ночь орали:  
«Счастье моё, ты опять запоздало...»

### *Заволжье*

А в Заволжье реки, как вожжи,  
И грибы — хоть косою коси.  
Хорошо там спится, тревожно.  
Там Земля на своей оси  
Поворачивается со скрипом,  
Как старуха в пустой избе.  
Там привольно живётся рыбам,  
Снам и птицам в печной трубе.  
Где деревни пусты и серы,  
Лес и небо — в одной горсти,  
Я оставил когда-то сердце  
И с тех пор не могу найти.

Игорь Корниенко

## Месопотамия

Рассказ

Стены, как люди, — уют любят. И чтобы покрасившее, понаряднее, в узор или цветочек... Верила, бубнила под нос Гуля и гладила огрубевшей ладонью чужие стены. Потому как своих стен не имела.

— Имела, — бубнила, — только сто лет назад имела. Тыщу лет назад. Вечность назад.

И плакала глубоко в себе, где сердце и душу охраняют стены из потерь, боли и печали... Плакала не подавая виду.

— Всегда улыбается и «здрате» скажет, и поможет, — расхваливали Гулю в поселке. — А уж как квартиру преобразит, когда обои поклеит, — глаза приклеятся не отклеятся, волшебница одним словом Гуля, золотые руки...

А откуда такая золотая волшебница взялась в поселке никто толком не знал.

Знали, Гуля беженка. Но вот откуда: с Азербайджана, Казахстана, Армения, может, с Украины?

Начальник ЖЭКа отвечал коротко, потому как сам не знал:

— Оттуда!

Резко, грубо, недовольно, будто гавкая, пресекала любопытство посёлковых. На этом и успокоились, — вот и хорошо, что оттуда. А-то ведь и не оттуда могла быть.

Гуля — беженка оттуда.

Начальник любил таких работников из ниоткуда с сомнительными документами, прошлым, репутацией...

— За копейки согласны работать, — лоснящиеся щеки блестели пуше прежнего, готовые, вот-вот взорваться маслом, кровью, жиром.

Но не взрывались.

Гуля получила заказ поклеить обои в комнате общежития. Заказ получила в аккурат на Пасху, так и пришла к клиенту в тот же день.

---

*Корниенко Игорь Николаевич* — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии В.П.Астафьева (2006), драматургического конкурса «Премьера 2010», литературного конкурса им. Игнатия Рождественского (2016), Шукшинской литературной премии (2019). Живет в Ангарске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 6.

Из комнаты номер 22 — рев музыки, пьяные голоса, звон стекла.

Гуля закрыла себя стенами век, сомкнула стены вокруг сердца и души, — окружила стенами себя, тихо постучала.

Музыка вспыхнула взрывом, голоса пьянее, оглушительнее зазвенело стекло.

Гуля открыла глаза.

Постучала громче, смелее, толкнула дверь, дверь приоткрылась, поползла по инерции дальше, распахнулась.

В нос ударил резкий мужской пот вперемешку с застойным перегаром, в глаза — голая, непривычно белая спина мужчины, исхлестанная неумело набитыми синими татуировками.

«Или это шрамы?» — ёкнуло, но Гуля не отступила, Гуля улыбнулась исполованной спине и сказала настолько громко, насколько смогла:

— Здравствуйте, мужчины!

Спина обернулась волосатой тощей грудью, лицо — желто-коричневый контраст спине, — сраженное злоупотреблением алкоголем и табаком, ничего не выражало. Гнезда глаз, впалые щеки, изъеденные по молодости оспой, тонкие губы показали гнилые зубы:

— О-о-о! — длинные, обвитые жилами виноградных лоз руки хозяина выключили музыку, выстреливавшую из черной коробки на столе между бутылками водки, тарелками с салатом и разбитыми вареными яйцами, эти руки потянулись к женщине: — Христос Восресе!

Собеседником, сидящим напротив мужчины, оказался совсем не мужчина. Собеседник, за которого хозяин сам и говорил, и отвечал, и задавал вопросы, делая голос пискляво-противным, была потрепанная резиновая женщина в парике блондинки и когда-то белом медицинском халате.

Раскрытый рот надувной женщины пугающей пустотой смотрел на гостью.

Гостья не отступила. Гостья сказала:

— Я Гуля, обои вам поклеить пришла.

Мужчина отрыгнул и будто протрезвел:

— Нехристь, что ли?!

Гуля ответила:

— Воистину Воскрес!

Хозяин одобрительно сжал кулак, потряс им:

— То-то. Вижу теперь, что не нехристь. Это они да бесовские отребья всякие не христосуются и в святой праздник работу работают. Когда сказано же, раскудрить ерыгу, русским языком говорено, радоваться воскресению Христа надо, а не это...

Заказчика зовут Грихой, Григорием, знала Гуля. В подробности посвятила малярша Светка Спиридонова, местное «би-би-си»:

— Он, значит, в давнем разводе, а может, и не был никогда женат, а может, и есть где отпрыск какой, тут тайна покрытая мраком, как и то, на каких войнах Гриха-Григорий этот, значит, воевал. Афган, Чечня — это точно, Карабах под вопросом, Донбасс маловероятно, хотя кто знает. Кто шепчет, с войн этих нетрадиционным он, мол, вернулся по части секса, по мальчикам, по солдатам то бишь, а кто говорит, наоборот бабником-лядуном, да таким неистовым, что одно время на каждую юбку быком бросался, и плевать, какого цвета юбка была. Лет на вид за сорок, но и не факт, что не под пятьдесят. Ты, Гуля, разузнай у него хоть чё и мне сразу по секрету.

Получив «исчерпывающую» информацию, Гуля клятвенно пообещала, что сможет — разузнает, а то ведь не отстанет Светка-бибиси, язык без костей...

Черноокая, черноволосая, хотя волосы и спрятаны под косынку, только Гриха кровь из носу уверен, что волос смоляно-черный, изящная женщина, смотрящая — не моргнет — в глаза, ему не понравилась:

— Кукольная какая-то, — отвернулся к своей Клаве — она же Бл...а, Соска, Шмара, тетя Мотя — и сказал тонким голосом за резиновую собеседницу: — Чё это она приперлась в такой день-то? Трезвая еще, а на часах час дня уже как.

— Я ненадолго, замерить, посмотреть, что да как... На глаз. Минутки на три... — выпалила Гуля, намётанно осмотрела полупустую, стол два стула, комнату, ободранные стены; стены на удивление ровные, без сколов и ран; увидела рулоны обоев в углу: — Вы обои, вижу, купили...

Матюгнулся Гриха, спохватившись, ойкнул, постучал звонко ладонью по тонким губам:

— Купили, агась, раскудрить ерыгу, попросил соседку-дуру купить обоев, она их под себя, дура, и купила, в цветочек аленький, теперь буду на лугу жить, в раю, мать, — налил в новую нечистую рюмку водки, протянул Гуле.

— Спасибо, только я не пью.

Гриха поперхнулся:

— Спаси и помилуй, — перекрестился и выпил. — Чтоб с такой жизнью и работой еще и не пить — это уже не диагноз, это клиника.

И писклявым голосом:

— Сразу видно, не наша. Да и баба при том, как те, ну, которых, ты помнишь, это самое...

И хриплым басом:

— Заткнись, сука! Заткнись!

Вздогнула Гуля от этого неожиданного, неподдельно истошного вскрика, торопливо, но без дрожи в голосе отчеканила:

— Клей для обоев я свой сделаю, принесу, намешаю, склеивает насмерть, не оторвете, если даже захотите, ни в век. Завтра, с понедельника, начну работу и за два дня управлюсь. Хорошего праздника вам.

Вышла, не давая и шанса ни хозяину, ни его кукле возразить. Для Гули самое главное — работа, качественная, за которую не стыдно, работа на совесть.

Все, что делаешь, делай как для себя. Как для Бога делай!

А за закрытой дверью крик:

— Ты ничего не знаешь о той моей жизни! Вот и заткнись, тварь! Я таких, как ты, голыми руками душил! Штыком дырявил! Гнида ты крашенная! Мразота надушенная! Заткнись!

Гуля не побежала, что сделала бы любая женщина не задумываясь, Гуля закрыла глаза, выдавила из себя весь воздух и увидела, как острое тело штык-ножа пронзает ее кукольное тело насквозь. «Нехристь». В сердце и глубже, и дальше, и ночью, во сне, этот же штык-нож, примкнутый к автомату, кромсал голое, оскверненное тело Гули, распластанное на пожухлой траве родной земли, кромсал до кроваво-черной каши.

Привыкшая к кошмарам, она не проснулась, укрытая стенами сна, она возвращалась в детство, во время, когда была самой собой, настоящей, любимой, живой...

---

*Анна Пестерева*

## «ЯЩИК, ЯЩЕР, Я ЩИТ»

*Рассказ*

— Аня, Аня. Познакомься, это твоя бабушка.

Женщине, лежащей на кровати, семьдесят восемь лет. У нее волосы такие же темные, как июльская ночь за окном. Всего несколько седых прядей — похоже на дорожки лунного света на воде. Глаза — вязкий мазут, зрачков не видно — тонут. Я смотрю на нее, она смотрит на меня. Мне восемь лет — юбка сбилась на бок, на ногах темно-синие новые туфли, привезенные мамой из Москвы. Мы молчим. Я понимаю — что-то не так, но не умею это сформулировать и продолжаю погружаться в мазут.

Она приехала из разрушенного войной города, еще пахнувшая южным летом, раскаленной дорожной пылью и дегтярным мылом. Поезд увозил ее к нам, оставляя позади квартиру и собственный сад с виноградником и черешней. Цепочка вагонов с людьми ехала мимо других составов — лежащих по обочинам на боку или колесами вверх. Казалось, они кричали, как и дома вокруг, почти на каждом висел огромный плакат «Продаю».

Она медленно шла из кухни в ванную в своей квартире в Грозном, держась за стенку. Дед суетился, готовил еду и ждал кого-то. Когда в дверь позвонили, он побежал открывать. Бабушка вышла в коридор посмотреть, кого принесло. На чемодане сидела женщина лет сорока — уставшая, худая, с бледным от недомогания лицом.

— Кто это? — спросила бабушка.

Это была моя мама. Она два дня ехала в Грозный из Москвы в плацкартном вагоне, чтобы забрать родителей из города. Был 1998 год.

В восемь лет я впервые узнала, что человек может потерять не только имущество, часть собственного тела, близких или жизнь. Он может потерять память. Иногда я приходила смотреть, как дед кормил бабушку. Тогда я задала себе вопрос, о который спотыкаюсь до сих пор: как это возможно? Если у тебя пропала собака, ты клеишь

---

*Анна Пестерева* — журналист, работала редактором на радиостанции «Коммерсантъ FM». Сейчас — обозреватель на РБК-ТВ. Родилась во Владивостоке, живет в Москве. Это ее первая публикация в литературном журнале.

объявления на дверях подъездов, спрашиваешь соседей и идешь искать питомца в ближайших дворах. Если ты потерял себя, то где? Куда писать? И поймешь ли ты сам, что потерялся? Я думала об этом, думала и тонула в мазуте.

Морозный узор на окне едва удавалось расковырять. Я упорно продолжала это делать, хотя пальцы замерзли и не слушались. Проталина зарастет потом уродливым рубцом — любое событие оставляет за собой след. Я ждала своего девятилетия и думала о будущем. Кто я? Человек. Правда, отец говорил, что пока только полчеловека. Даже в междугороднем автобусе за меня брали неполную цену, а значит, надо еще расти. О чем я мечтала? О подарке. Не о каком-то определенном, а просто, чтобы он был, потому что с деньгами туго, — так говорили взрослые. Кем я стану? Хорошим и честным человеком. Очень справедливым, не буду врать и обманывать. При мне не будет нищих и не придется плакать. О прекращении всех войн я не мечтала — слишком все сложно, и моей детской магии тут недостаточно. Во что я верила? В бога. Через три дома от нас монастырь, и мы ходили туда каждое воскресенье. Но еще больше я верила в свое будущее — там обязательно все будет хорошо. Чего я боялась? Я не... Ноготь уперся в твердый кусочек льда на стекле и треснул посередине. Я только ахнула и отдернула палец — больно. Мама звала к столу, пахло макаронами по-флотски, и я слезла с подоконника, уже не помня своего вопроса.

Вернулась к нему гораздо позже; уже будучи взрослой женщиной смогла подобрать нужные слова. Каждого пугает что-то свое, я определилась со страхами рано: потеря личности хуже смерти. Так я расставила приоритеты.

\* \* \*

Бабушка не помнила даже собственного имени. Знала одно единственное — Коля. Оно заменило остальные, стало нарицательным. Все люди на свете Коли.

Может быть, где-то на улице, а может быть, дома между кухней и залом, при звуке очередной автоматной очереди что-то лопнуло у нее в районе солнечного сплетения, выступило потом на ладонях и спине. А может, ничего этого не было. Может, мозг стал стирать самое страшное — суету и ужас ночных поджогов, грохот взрывов. Образовавшиеся в ткани памяти прорехи затягивались туманом, который накладывался на другие воспоминания, выедал их изнутри. Так постепенно голову окружила плотная белая пелена, и вместо выстрелов «ра-та-та-та-та-та» бабушка слышала теперь «ко-ля-ко-ля-ко-ля», и от этого становилось спокойней. Из всего, что у нее было, она сохранила для себя только имя мужа, — видимо, оно оказалось единственным безопасным местом во всем городе.

*Рубашка в грязи. Опять. Значит, лежал между грядками. Значит, стреляли совсем рядом. И молчит — надеется, что не замечу?*

*Вода закончилась, как же быть-то? Питьевую нельзя — когда в следующий раз гуманитарная машина?.. Мда, без воды.... Дожили. В детский сад пойду, там подвал затоплен — для стирки сойдет. Одно ведро или два? Ох, спина болит. Ничего. Одно.*

*Нельзя ему ходить туда, нельзя, сколько повторять-то. Ковыряется в саду. Виноградник ему жалко. Ну да, а умереть не жалко? Не хочу, не хочу. Вино! Спятил! Когда его пить? На собственных поминках разве что. Смеется. Принесет свой виноград, я его и пальцем не трону. Я его выкину, вот что сделаю.*

*Фуух, устала, а мне еще наверх. Сколько сейчас? Семнадцать, что ли? Ну, да. Что-то медленно все делаю: возраст, возраст. Бессонница еще. Ночей боюсь. Дожили.*

*Посижу на лавочке, фух. Эх, а когда-то во дворе играли наши дети. Вот прямо тут и играли. Неужели было? Ох, пойду потихоньку, некогда расслаживаться. Где же Коля? Давно ушел.*

*Несколько раз снился этот чертов сад. Нет, ходить туда нельзя. Больше нет. Калитка скрипит на одной петле. Деревья вырублены под корень: и абрикос, и алыча, все, совсем все. Иду. Грядки в сорняках, кроме одной — с клубникой. Ягоды большие и красные, как сердце, на каждом кусте по несколько штук. Хочу сорвать, наклоняюсь и вижу — Коля лежит. Хватаю за плечи, трясу, не шевелится. Голова запрокинута, рот открыт. Прямо из горла откуда-то вылетает снегирь — пятно на груди кровоточит. Полетал над нами и исчез. А Коля у меня на руках. Лежит. О господи...*

*Подойду и скажу: «Обещай мне, что больше не пойдешь. Обещай!»*

Люди брали карандаши, делили мир на квадраты. Вот этот квадрат вам — за все самолеты, пролетающие здесь, отвечаете головой. Не дай бог что случится, вы же понимаете. Грузы поставляются в СССР по ленд-лизу, все должно прибыть целым.

Бабушка получила повестку в армию в сорок втором году, а может быть, в сорок первом — точную дату в нашей семье уже никто не знает. Служила радисткой на одном из участков «персидского коридора». Хронический недосып, плывущее сознание, одна мечта — закрыть глаза и падать, падать, падать. Бабушка не любила рассказывать об этом времени, но один случай сохранился в семейной памяти. Случай, который никогда со мной не происходил, но стал частью моих воспоминаний. В любой момент я могу увидеть то, чему никогда не была свидетелем.

Война отпускает всего на четыре часа — забыться сном и вернуться. Сигнал тревоги в любой момент — опрокидываешься, голова еще выключена, тело уже работает — надевает форму, застегивает пряжку на ремне. Я вижу, как молодая женщина с черными волосами под сирену встает, делает шаг и падает на кровать, встает, делает шаг и снова падает. Я и есть эта женщина. Я еще сплю, но сон ломается, как лед под сапогом, — что-то не так. Почему я падаю? В районе ключиц у меня разливается холодком волнение, стекает ниже — под ребра. Наконец разлепляю глаза — теперь все понятно. Передо мной стенка. Просто я заснула на другом боку и пытаюсь встать не с той стороны кровати. Я ли? Нет, это молодая женщина с темными волосами. Я смотрю на нее со стороны, откуда-то с потолка.

Интересно, то, что происходило с ее сознанием в Грозном, было похоже на этот полусон, когда пытаешься встать с кровати, но ударяешься о стену и падаешь навзничь?

*Я стою на крыше нашего дома. Внизу ходят люди с красными флагами — Первомай. Кто-то жарит шашлыки, над двором белый дымок. Чувствую запах костра. Отрываюсь от крыши, взлетаю над городом, меня начинает трясти. Сильный ветер, голова назад-вперед. Открываю глаза — перевернутое лицо Коли. Неужели я лечу вверх ногами?*

*— Вставай, говорю. Горим!*

*— Что?*

*На стене пляшет пятно света — солнечный зайчик. Он нас всех съест. Пахнет гарью. Чихаю, на бегу надеваю тапочек и падаю. Колено — больно. Поднимаюсь, опираясь на стену.*

*— Дверь подожгли, видишь? Набирай воду в ведро, неси сюда. В баке вода.*

*Пламя еще несильное. Повезло, что проснулись.*

*— Коля, это пожар? Пожар, да?*

*Игорь Малышев*

## Память моя, мошек рой

\* \* \*

Память моя, мошек рой.  
Я видел смерть под тёмной водой.  
Над которой порой ночной  
Дрожит память моя, мошек рой.

Я видел рыб под водой, страх и вой.  
Упаду, и сожрут под тёмной волной.  
Далеки берега и неведом покой.  
Память моя, рой над чёрной водой.

Мошки мельчайшие над бездной и тьмой.  
Ничего не останется, всё унесёт рекой.  
Ни грусть не вечна, ни смех, ни жалость.  
Держись, держись, моя память.

\* \* \*

И что следующей будет весной,  
Будет уже не со мной.  
Это будет уже с другим,  
Пусть он с именем даже моим.  
Пусть он в доме моём живёт  
И его признаёт мой кот,  
Его любят мои друзья...  
Это буду уже не я.

---

*Малышев Игорь Александрович* — прозаик, драматург, поэт. Родился в 1972 году в Приморском крае. Получил высшее техническое образование. Работает инженером на атомном предприятии. Автор восьми книг прозы и ряда пьес. Финалист многих литературных премий. Живет в Ногинске.

\* \* \*

Есенин подходит к столику, где сидит Маяковский.  
Оба сейчас нетрезвы. Есенин нетрезвый — жёсткий.  
Кладёт на столик кулак каменно-крепко сжатый.  
«Ты, Маяковский, дурак. Вот разгадка для всех загадок».  
Открывает ладонь, там патрон, семь шестьдесят пять.  
«На счастье тебе. И не вздумай его потерять».  
Маяковский видит патрон, говорит: «Красивый».  
Лилечка пулю целует: «Это на счастье, милый».  
Маяковский берёт патрон, в помаде, как в красном перце.  
И прячет в нагрудный карман, сразу поближе к сердцу.

\* \* \*

А ночью возле дома бродят лоси,  
Хрустя, глодают веточки калины,  
Заглядывают в окна, дышат в стёкла  
И об углы горбаты чешут спины.

Наутро люди видят изумлённо:  
Следы вдоль стен, обломана калина, —  
«Ты знаешь, ночью приходили лоси,  
Мы всё проспали, Господи, прости нас».

Они бросают соль на снег и ночью  
Сидят и смотрят, затаив дыханье,  
Как из лесу опять выходят лоси  
И дышат в стёкла, и блестят глазами.

А лоси — корабли, киты, планеты,  
Проходят в темноте, скрипя снегами.  
И люди смотрят, смотрят изумлённо,  
Как будто тайну вековечную узнали.

\* \* \*

Нет, не на этой стороне луны.  
Не в этом городе,  
Не на карте этой страны,  
Не на глобусе этой планеты,  
Не этим летом,  
И зимой не этой.  
Не с нашим счастьем,  
Не с нашими отражениями в зеркалах.  
Путь наш измерен.  
Земля на подошвах,  
Дело швах.

Что-то не так с веком,  
И тысячелетье не то.  
Ты думал, трамвай едет к дому,  
Но трамвай в депо.  
Ты думал, успеется,  
Ты думал, пройдёт.  
Мемориальная табличка,  
С такого-то по такой  
Ты жил в этом теле,  
Потом ушёл.

\* \* \*

В русском лесу хорошо, пахнет землёй,  
Крыльями бабочек, смертью, соком осин.  
В русском лесу хорошо, здесь каждый один.  
Взгляду просторно, щекам горячо-горячо.

В русском лесу под листопадом уснуть.  
Ночь напролёт слушать шорох кротов под землёй.  
С первым лучом лёд на реке обмануть.  
Встать на коньки и бежать далеко-далеко.

В гнёздах совиных косточек птичьих не счесть.  
Мягко полёт тёмной птицы, когти остры.  
Только не совы, а зяблики и соловьи  
В лес принесут о весне долгожданную весть.

*Андрей Волос*

## Мешалдá

*Книга семейных рецептов*

### *Ливерная колбаса*

*Памяти Евгения Михайловича Широкова*

Шумела весна, стояла теплынь, солнце светило с яркого неба, а у нашего Мурзика была чумка, и он умирал.

Он расслабленно лежал в углу дивана на сложенном вчетверо байковом одеяльце. Нос был сухой и горячий. Полузакрытые глаза безучастно смотрели в стену.

Я осторожно касался пальцем потускневшей шерсти.

— Мурзик! — тихо звал я. — Мурзик!

Мурзик не отвечал. Он и прежде-то, к сожалению, не умел говорить, а теперь даже не мяукал. У него была чумка, а коты от чумки умирают.

Чтобы не нагнетать лишнего напряжения, скажу сразу, что он, слава богу, не умер. То есть что значит — не умер? Теперь-то его все равно уже нет на белом свете.

А к нам Мурзик попал совсем маленьким, чуть только не слепым. Не буду распространяться о том, каким он был славным в этом нежном возрасте. Котята все смешны и похожи: все они примерно одинаково скачут за бумажкой на ниточке, валяются по полу, кувыркнувшись с разбегу через голову, охотятся за тапочками, горбятся, грозно идут боком вприпрыжку и, припрыгав почти вплотную, вдруг, дико вытаращив глаза, по-человечьи встают на задние лапы, широко раскинув передние: точь-в-точь старый друг при случайной встрече.

Потом он вырос и превратился в большого боевого кота. В сущности, ничего примечательного в нем не было — самый обыкновенный кот самой плебейской тигриной расцветки. Серенький в полоску.

Жилось ему у нас неплохо. Холеный, закормленный, летом и осенью он был толст, медлителен и вальяжен, ступал с достоинством. Окном в мир, равно как и дверью, ему служила форточка. На кухне она почти не закрывалась, и он часами сидел в проеме, рассматривая шевеление листвы и оценивающе приглядываясь к мельтешению воробьев, а потом вылезал наружу.

Рано или поздно приходила пора возвращаться, и Мурзик, явившись из зарослей палисадника, молча вспрыгивал на оконный карниз. Окна первого этажа в нашем большом трехэтажном доме были забраны решетками. Несколько секунд он топтался, глядя на форточку, примеряясь и нервно перебирая лапами. Наконец решительно прыгал, норовя попасть головой в одно из ромбических отверстий решетки, и, если это удавалось, неистово продирался внутрь, скребя когтями, мучительно сплющиваясь, кособочась и на воровской манер протискивая плечи — по очереди.

В середине зимы Мурзик начинал гулять. Скоро бока западали, глаза на сухой морде светились сумасшедшим огнем, весь он покрывался болячками и шрамами, совершенно терял рассудок и превращался в жалкое безмозглое существо, способное только пьяно орать по ночам.

Зато когда он теперь ненадолго заглядывал домой (вроде как на побывку: помыться, побриться, вообще передохнуть в кратком промежутке между боевыми действиями), — решетка уже не представляла для него серьезного препятствия. Он змеился сквозь нее словно куница.

Мама встречала его сердитыми попреками:

— Пришел! Явился — не запылится! Где шлялся три дня, дурак старый? Гуляешь все! Смотри, догуляешься! Прибьют тебя где-нибудь!..

Мурзик ковлял за ней по кухне, с яростным мурлыканьем бодал ноги. Наконец мама ставила на пол мисочку. Сиротски выставив острые лопатки, он припадал к ней, пожирая ливерную колбасу: косился по сторонам, жевал, глотал, давился, хрустел попадавшимися на зуб жилами и закрывал от усилий глаза, выворачивая голову.

Когда миска пустела, он еще некоторое время одурело сидел перед ней. Потом отходил, пошатываясь, брел в комнату, садился возле шкафа. Начинать было послеобеденный туалет, вылизывал один бок. Но тут силы его окончательно покидали, и Мурзик засыпал по-солдатски — то есть где сон сморил, там и повалился.

\* \* \*

Надо сказать, что сейчас, много лет спустя, вспоминая, как он вспрыгивал на колени, как щурился и вытягивал пушистую шею, если кто-нибудь из нас почесывал ему подбородок и горло, — или как ярился, суживал глаза и бил лапой: играя с ним, я подчас доводил его до последнего градуса бешенства, и в его злобном взгляде начинало сквозить сожаление, что он не может стать на минуточку тигром, чтобы меня сожрать, — представляя себе его сытую степенность, невозмутимую холодность, барскую походку и то искреннее изумление, которое неизменно воцарялось на усатой физиономии, когда он обнаруживал, что опять кому-то до него есть дело, — представляя себе все это, я не могу отделаться от ощущения, что речь идет не о коте, а о человеке.

Так устроено воображение. Мы не могли бы испытывать к животным ни любви, ни жалости, если бы не полагали, что они мыслят и чувствуют примерно так же, как мы сами: как люди, но люди небольшого роста и не вполне самостоятельные, забывчивые, требующие нескончаемых напоминаний и повторов одного и того же даже в тех случаях, когда, казалось бы, все можно отлично запомнить с первого раза; о которых всегда приходится заботиться и наставлять на путь истинный. Люди — но как будто не взрослые. Короче говоря, мы числим их детьми.

Вот, например, однажды наш экспедиционный шофер поймал сурка. Сурок — это большой смысленный зверь, толстый в зад; вид у него такой умиротворенный и разнеженный, будто он только из-за праздничного стола. Обычно они сидят возле нор

Анна Маркина

## Жёрдочка-человечек

\* \* \*

Чтобы двигаться, можно совсем не идти.  
Потеплеет и тронется лёд.  
Много лет уже, запертый на карантин,  
гражданин никуда не идёт.

Переждать. И других, и себя побережь,  
отложить на потом Рагнарёк.  
Сохраним тебя, славная русская гречь —  
катастрофы большой поперёк.

Нам поможет больница и универмаг.  
Непреклонен природный конвой.  
Что там ценится нынче на рынке бумаг?  
То, что ты забираешь домой?

Через страх, через боль, соблюдая режим —  
кто под землю, в нору, кто на травку, —  
мы когда-нибудь всё это перележим  
да и с богом пойдём на поправку.

\* \* \*

Морзянка утра: лиственные точки,  
тире ветвей. Ворчание ОРВИ.  
Иди, чумной, гулять на поводочке  
у смерти, жизни, боли и любви.

На нежность и прощение скупая,  
зима на простынях за белизной  
лежит и от себя не отпускает,  
как тихо умирающий больной.

---

*Маркина Анна Игоревна* — поэт, прозаик, переводчик. Родилась в 1989 году. Окончила Литературный институт им.А.М.Горького. Сооснователь литературного журнала «Формаслов» и одноименного издательства. Автор книги стихов «Кисточка из пони» (М., 2016) и повести «Сиррекот, или Зефирова Гора» (М., 2019). Финалист Григорьевской премии, Волошинского конкурса, премии «Нонконформизм» и др. Член арт-группы #белкавкедах. Живет в Люберцах.

За лебединым, дроздовым, вороньим,  
по слёзному, по тающему льду  
пройдём и это время похороним.  
А я под снегом стёклышко найду

и под него у сердца где-то спрячу  
за светом в обрамлении чумы  
солёный гул и поцелуй горячий,  
и образ обессиленной зимы.

\* \* \*

Под крышей неба — птичий беспредел.  
Состав домов торжественно гудел  
И лошади мотора грозно ржали,  
Когда район и сумрак голубой,  
И полки книг, возглавленных тобой,  
От снежного перрона отъезжали

По нежности раздавленной моей —  
От тёплой кроны до худых корней.  
Пел гимны на прощание Новалис,  
Кондуктор привставал на стременах.  
Но где-то в параллельных временах  
Мы всё же на перроне оставались.

Луна была поставлена с трудом,  
И в долгом ожидании седом  
Игла скользила по её пластинке  
И высекала что-то про Г'амуиг,  
Сам воздух пел, как будто Азнавур,  
И нежность удержалась на тростинке.

\* \* \*

Раз в году приезжаешь к родне  
и стараешься быть на волне,  
но течение мыслей относит  
от их быта, где стынет река  
прокисающего молока  
и опоры стоят на откосе.

Ты, зелёный тепличный побег,  
чем поможешь ты им, человек  
надувной, помидорка столичная?  
Запечён под московской фольгой,  
ты настолько нездешний, другой,  
что они тебя ловят с поличным:

мало шлѣшь о себе новостей,  
не заводишь собак и детей.  
А работа? А выпить? А замуж?  
Переходишь молчание вброд.  
Прополов небольшой огород,  
к легкокрылым делам уезжаешь

от их дома, где печка чадит,  
где надежда берѣтся в кредит,  
от малюсенькой точки на карте.  
И о маме скучаешь сильней,  
и обрубки усталых корней  
волочишь через темень плацкарта.

\* \* \*

Под прикрытием трав убегает Ока,  
дождь грохочет — стрельба боевая...  
по планете, по всем её материкам.  
Так мотыга проходится по мотылькам,  
так прозрачная чушь наполняет стакан,  
и в прикуску её выпивают

с бутербродом заветренных маленьких букв —  
белый мякиш центральных каналов.  
И повесточный миксер взбивает фейсбук  
до белкового пика, до поднятых рук.  
И, стеснённые шумом, на солнечный звук  
улетают седые журналы.

И сидишь ты такой... над текучей Окой,  
дождь по сытой поверхности бѣт.  
И всё кажется медленной, грязной рекой,  
потому что нет правды уже никакой,  
потому что парадно, как нежный левкой,  
на ветру расцветает враньѣ.

Инфоливень гудит, инфоливень идѣт.  
Но не колетса крепкий орешек:  
Златосердый, мышастый, родной идиот,  
против всякого зла применяющий йод,  
белый парус надежды ещё узнаѣт  
в облаках и цветенье черешен.

\* \* \*

Силу теряет венчик.  
Чёрным исписан лист.  
Жёрдочка-человечек,  
Как по тебе прошлись!

Ах, человечек тонкий,  
Если бы жизнь другая  
И по тебе не топали  
Болотными сапогами?

Был бы ты полнокровной  
Чёрточкой меж слогами,  
Что образуют слово  
Над хлебными берегами,

А не больным трёхзвучьем  
Бешеных сторожих,  
Жёрдочкой перекрученной,  
Брошенной под чужих.

\* \* \*

Памяти ослеплённая эскадрилья.  
Воздух ночной печали моей черней.  
Боли фантомные ошеломлённых крыльев,  
срубленных у корней.

По-барбарисьи рассвет нависает кисло,  
держит под розовой своей слюдой  
ровные, спящие в иле озера смыслов  
с мёртвой твоей водой.

В полдень наш двор соломенно запекается.  
Если в начальной ремарке висит ружьё,  
то не спасут ни чтение, ни лекарства,  
выстрелы бьют над «ё»,

и в этой тяжести двух разведённых точек,  
что не сводимы больше к одной оси,  
ночь даже днём всё под крылом висит,  
выстрелы мыслей бьют под прикрытием ночи.

*Сергей Маслов*

## Два рассказа

### *Тая и духота*

Тая плохо знала, как выглядят чужие люди. Не интересовалась разговорами и сама разговаривала редко. За повседневными делами родителей наблюдала охотно, но если принимала в них участие, то быстро начинала грустить. Тая могла сама придумывать себе занятия, но и они навевали скуку, не успев увлечь. Только одно Тая никогда не надоедало.

Она обожала ловить духоту.

Изучать новую или узнавать уже знакомую.

— Ловишь... духоту? — переспросил тучный лоснящийся психиатр, с недовольством поглядывая на Таину маму.

— Духоту ловит Тая, — бесцветно отозвалась Тая. — У мамы духота есть. У папы. У грибов. У всех. У всего...

Психиатр догадался, что речь идет о запахах, и несколько оживился. Он задавал множество скучных вопросов, а Тая, ловя его жирновато-липкую духоту, отвечала нехотя и сердилась на маму — зачем она привела ее сюда?..

В том, что у Таи очень сильно развито обоняние, родители убедились год назад, когда пропал старый Сазоныч. Он умел — когда напивался, — незаметно исчезнуть, но всегда возвращался в село спустя сутки, бормоча небылицы о каком-то белом пугале, увлекающем за собой в такие дальние дали, каких трезвый Сазоныч никогда и не видал. Обычно пугало заботливо провожало его обратно до села, но в тот день, похоже, бросило на полдороги. Не вернулся горемыка. Собравшись в несколько групп, сельчане отправились на его поиски в окрестные леса. Тая увязалась за папой. Долго искали, до темноты — безуспешно. Решили возвратиться, а с рассветом организовать новую вылазку. Плелись домой злые — целый день впустую... Вдруг Тая кинулась прочь. Папа, недоумевая, побежал следом, — Тая стояла, опустив голову, в зарослях папоротника, а рядом лежал и пересматривал свои бесчисленные бредовые сны Сазоныч...

По коридору моталась скучная духота. Тая равнодушно изучала ее — ждала маму, задержавшуюся в кабинете тучного. Скоро мама вышла и повела Таю по коридору, непривычно крепко сжимая ее руку. Недовольно вздрогнула от маминого обидного хлопка обшарпанная деревянная дверь — наконец-то улица, здесь духота внятная, открытая. К автовокзалу шли пешком, и мама всю дорогу тяжело вздыхала, бормоча что-то непонятное:

— Диспансеры, препараты, о-ох... Сцепи-алисты, ишь... А чего ждала-то?.. Чего они еще могут-то?.. Ну ладно, ладно... Так проживем...

Перебрасывая из руки в руку корзинку, Тая бродила по лесу вместе с мамой и папой. Грибная духота клубилась на каждом шагу — густая, настойчивая, волнующая. Если Тая выскивала в земле бледно-оранжевую или серо-бежевую шляпку — приседала, вставала на четвереньки, наклонялась к находке вплотную и тянула носом. Насытившись духотой, аккуратно проводила под шляпкой ножиком — шляпка заваливалась набок, словно задрёмывая. Тая тихонько, чтобы не разбудить, брала гриб и перекладывала его в корзинку.

Первая половина августа получилась очень дождливой, зато вторая задаривала село и всю округу теплом, и грибную духоту в лесу Тая ловила особенно цепко. Пригнувшись и юркнув в колючий лабиринт еловых зарослей, она увидела семейку маслят. Подышала минуту рядом с ними и, не тронув, вынырнула из лабиринта на волю. Маслята были Тайными любимцами, и она никогда их не трогала. Берегла и жалела их духоту, переключавшуюся с той теплой июньской ночью...

Тая тогда решила поспать в чулане. Ее разбудили и встревожили папины шаги в сенях. Приоткрыв чуланную дверь, Тая наблюдала за происходящим в щелку. Папа прокрался на террасу и замер около стола. Лунный свет стекал по его голой спине. Следом за папой из избы выскользнула мама, остановилась у него за спиной и прижалась к ней щекой. В этот момент Тая поймала удивительную духоту — усталую и нежную одновременно, — и услышала тихие мамины слова:

— Хорошо... В глубь самую... Можем еще... Можем...

С тех пор духота маслят в Тайном сознании ассоциировалась именно с увиденной в щелку сценой, которую Тая не поняла, но которой безоговорочно поверила.

«Душные маслята, душные... — радовалась Тая, понемногу сокращая отставание от родителей. — Как папа с мамой тогда...»

Возле толстенной корявой березы Таю нахально окатила неизвестная духота.

Не грибная, не древесная, не землистая. Другая. Тая остановилась, не понимая, почему не виден ее источник — обычно он определялся быстро и безошибочно.

— Тая-а, идё-ом! — позвал папа.

Тая не двигалась с места, озадаченно озираясь.

— Тая-а! — мамин зов.

Тая принялась крутить головой во все стороны, отчаянно пытаясь определить, откуда идет духота. Взгляд ее лишь скользнул по уходящему вверх стволу березы, но рассудок успел уцепиться за какую-то странность. Тая подняла глаза, пригляделась и обомлела.

На кривом суку сидело чудное пятнистое существо, похожее на огромную кошку, и хмуро изучало Таю. Кисточки на кончиках кошковых ушей напомнили Тае, как весной они с мамой, оказавшись в городе по делам, зашли в зоопарк. Там, в одной из

грустных комнат с прутьями вместо стен, без усталости расхаживала кошка с такими же кисточками.

— Это Юна. Она мяско кушает, — объяснила тогда мама.

Тая пристально глядела вверх и напряженно сопела, жадно ловя новую духоту.

— Тая-а! — снова позвал папа.

Вспомнив папину просьбу сходить по первому же зову, Тая спохватилась и мгновенно приняла решение: скорее догонять родителей, но завтра вернуться сюда и подышать еще — уж очень интересны оттенки новой духоты.

Лесные маршруты Тая всегда запоминала легко, и сейчас она точно знала, сколько прямых линий ведут от села к этой Коряхе (так нарекла Тая корявую березу с кошкой), сколько шагов помещается в каждую линию и в каком порядке они соединяются змейками-поворотами. Завтра, вытягивая из памяти поочередно линии и змейки, Тая без труда отыщет Коряху и придет к этой новой духоте.

Вечером родители сидели на террасе, собираясь пить чай, а Тая лежала в постели и размышляла о хмурой кошке: «Она тоже Юна... Тоже мяско кушает... Тая завтра придет и угостит Юну...»

Тая недолюбливала и не носила наручные часы, но родители не боялись отпускать ее на длительные прогулки. Знали, что она привыкла к одному и тому же маршруту — от села до Мерицы и обратно. Знали, что купаться одна не решится. Полазает вдоволь по склонам крутого лесистого берега и всегда вернется домой точно в оговоренное время.

Сегодня, увидев Таю с корзинкой, мама насторожилась:

— Чего удумала-то? Смотри, только по берегу собирай. Дальше ни ногой. И к трем возвращайся, чтобы не искать тебя.

Выбравшись из села, Тая направилась не к Мерице, а в лес, впервые нарушив привычный маршрут. Шла уверенно, отсчитывая шаги на прямых линиях и следя за тем, куда ползут змейки. В корзинке у нее лежали три кусочка сырого мяса, взятые из холодильника и завернутые в газету. Тая хотела взять еще молока, но пока соображала, во что его можно перелить, услышала мамины шаги и поспешно захлопнула холодильник...

Увидев впереди Коряху, Тая сразу поняла, что Юны нет.

«Ушла Юна... — горевала Тая, прислонившись спиной к Коряхиному стволу. — К Юне Тая хочет, а Юна к Тае не хочет... Тая мяско принесла Юну угостить... А где Юна?... Ушла Юна...»

Тая ни на миг не забывала ни об одной линии, ни об одной змейке маршрута от села до Коряхи. Она точно знала, когда нужно начать обратный путь, чтобы успеть к трем часам, как просила мама. Но вот Тайны мысли отчаянно плутали кругами...

Как и вчера, духота неожиданно, с дерзким нахальством окатила Таю. Она вскочила и огляделась. Юна неподвижно стояла шагах в тридцати от Коряхи, словно вырезанная из дерева фигура. Тая наклонилась к корзинке, достала гостинец, развернула газету и положила мясо на землю перед собой. У Юны ожил и начал дергаться нос. Вслед за носом ожила вся Юна, но сделав несколько шагов к Тае, остановилась.

«Юна к мяску пришла... Ловит духоту его... — радовалась Тая. — Юна к Тае пришла... Ловит духоту... У Таи тоже духота есть?... Какая духота у Таи?... Папа не знает... Мама не знает... Юна знает...»

---

*Екатерина Кудрявцева*

# Мелкая моторика рук

*Рассказ*

Привычка заслоняться, однако, универсальна, и, вероятно, стоит на защите здравого смысла.

*Дневники Вирджинии Вулф*

Что меня волнует больше всего? Я думаю, что меня закатало в эти отношения асфальтовым катком: и вот я, как ископаемое или, может быть, осколок стекла, лежу, законсервированная в теплой и мягкой жиже, которая медленно, медленно затвердевает вокруг меня. Скоро я перестану иметь значение, сожмусь в этом холодном, жестком камне, который называется «жизненный опыт другого человека».

Ладно. *Что на самом деле* волнует меня больше всего? Пожалуй, это: мы так и не смогли поговорить о том, что между нами происходило. Если так подумать, нелепейшая вещь: люди вообще редко говорят о том, что их *действительно волнует*.

## *Занятие 1. Приветствие*

*Здравствуйте* = показывая 5 и 5, крутить руки к себе на уровне груди + мимика

Но стоит сменить язык, — и восприятие мира тоже меняется. Вот, например: в жестовом языке не получается говорить о том, что тебя волнует, с прямым лицом. (*Повторите, пожалуйста, медленно* = «Ч» п. р. по открытой ладони л. р. — сложить руки в молебне и потрясти — п. р. по предплечью л. р., как будто задираешь рукав ме-е-едленно). Мимика, артикуляция, эмоции, пространство, «рисование руками» предметов, людей, ситуаций — важная часть коммуникации. Все это не просто расставляет акценты, но меняет смысл сказанного.

*Спасибо* = п. р. кулаком от лба к подбородку (как стягиваешь шапку, если ты крестьянин)

---

*Екатерина Кудрявцева* — редактор, медиаменеджер и культуролог, блогер. Окончила НИУ ВШЭ (факультет медиакоммуникаций и магистратура по культурологии). Живет в Москве. Первая толстожурнальная публикация автора.

В жестовом языке нет игры слов, привычной звуковому, и это иногда имеет странные последствия: например, я не могу рассказать на ЖЯ ни одного любимого анекдота (эй, верстальщик, наверстай мне упущенное: нет, на жестовом — невозможно). Как оказалось, на жестовом языке тяжело говорить не то, что думаешь.

*Как дела?* = «К» + «А» + «К» двумя руками — 5 и 5, потрясти пальцами вразнобой и двигать от себя ладонями вниз

*Хорошо* = «Е» у губ — 5 ладонью к лицу (как жвачка лопается у рта)

Казалось бы, между нами не лежала никакая языковая или культурная яма. Мы говорили (могли говорить!) на одном языке, но он как будто бы скручивался в жгут, до последней степени искривляя смысл сказанного. У нас не было привычки обсуждать важное, и в какой-то момент оно, невысказанное, осевшее, тяжелое, вытянуло весь воздух между нами.

Я чувствую себя обманутой. Не потому, что ты врала мне, — это слово предполагает злую волю. Ты не была честна, но и это не преступление. Проблема в другом: ты вела себя так, как будто ты была в меня влюблена. Уже в том, как я формулирую это предложение, заложена червоточинка, трещина, расшибшая фундамент, — ты не была в меня влюблена.

Кстати, *обманывать* = п. р. знак V положить на запястье л. р., сжатой в кулак ладонью вниз, но это было сильно позже. А пока —

## Занятие 2. Люди

*Ты* — пальцем в конкретного человека

*Я* — пальцем на себя

Сначала мы общались, как и положено знакомым, коллегам, может быть, случайным, но регулярным встречным. Люди (*человек* = п. р. «Э» сверху вниз, как столбик; *люди* = человек двумя руками по количеству присутствующих людей), связанные формальным знакомством, вертятся по независимым орбитам: дышат своим воздухом, поддерживают свои экосистемы. Но в какой-то момент все изменилось на уровне языка твоего тела: оно стало ближе, оно словно развернулось ко мне целиком, наполнило пространство между нами чем-то живым, эмоциональным и красивым. Наша самодостаточность пошатнулась: наши тела тянулись друг к другу, нарушали все заветы не-близости. Мы не обсуждали это, не превращали в слова, которые можно перевернуть, извратить, использовать против. Мы наслаждались общением наших тел, и какое-то время этого было вполне достаточно.

*Меня* — «В» к себе ковшиком

*Вы* — «В» вперед ладонью вверх

*Мы* — *Вы* + я (после «Вы» сделать круг к себе)

Иногда наше желание оставить все как есть (или нежелание сделать шаг?) давало сбой. Вот, например: семь утра, мы в парке, мы гуляли всю ночь, смеялись над фигней, много обнимались. К тому, как мы двигались, можно придраться — но мы решили этого не делать.

*Друг = согнутым локтем движение к себе (как «ходить под ручку»)*

*Дружба = п. р. в л. р. и потрясти*

Дальше: во тьме какого-то концерта ты берешь меня за руку и смотришь так, что даже стенам рядом с нами становится понятно: наша история только что разветвилась на две; одна — простая и привычная, без двойного дна, а вторая — пока только возможность, дымка, Марианская впадина неизвестности. На следующий день я решаю забыть об этом, смахнуть под ковер обыденности, в которую такие события не вписываются.

*Начало = л. р. «В» ладонь от себя + п. р. цифра 1 вверх вдоль ладони (росток растет вверх)*

*Попробовать = б. п. у подбородка постучать несколько раз*

Пройдет немного времени, и ты позовешь меня с собой (куда? допустим, к себе домой), и я откажусь. Потом откажусь еще раз.

Если бы я искала метафору для этих отношений, лучше всего подошла бы игра в морской бой. Вы обе знаете правила и расчерчиваете поле. Вполне вероятно, делаете это на паре или, скажем, на работе: так в игру добавляется перчинка запретности — ощущение, что это касается не только вас, что вы сможете переглядываться над головами ни о чем не догадывающихся друзей и коллег, что у каждой вашей беседы будет двойной смысл. Вас могут поймать и сделать ата-та. Но это ата-та не имеет ничего общего с той игрой, что происходит между вами. Мимо. Мимо. Ранила. Убила. Ты промахиваешься один раз, второй, третий.

Вы замечали, что по правилам морского боя нельзя защищать свои корабли? Нужно атаковать и разрушить корабли другого как можно быстрее. Мне нравится думать, что в этой игре меня не победить, но с тобой я играю не по правилам: я защищаю свои корабли, потому что знаю: ты уже настраиваешь гаубицу, ты будешь сильнее меня, и мой флот этого не перенесет.

*Мой = ковшиком к груди*

*Твой = ковшиком от себя к тому, чье*

*Свой = 5 бол. п. п. р. к подбородку — вложить «Е» в раскрытую ладонь л. р.*

Для языка важны метафоры — мы структурируем и познаем мир, раскладывая предметы, мысли и действия по принципу схожести. Но в жестовом языке метафора — основа словотворчества. Руками, мимикой, положением тела в пространстве мы повторяем форму объектов реального мира или передаем их идею: в процессе говорения ты должен стать схожим с тем, о чем говоришь.

Я веду себя как человек, которому все равно, но мне это не помогает. Язык моего тела не становится реальностью — мне не все равно.

Поэтому дальше будет так: однажды ты позовешь меня с собой и я соглашусь — мое тело потянется к тебе, и я перестану сопротивляться. Мы не говорим о том, что происходит, зато наши тела выполняют набор движений, вполне соответствующих ситуации.

*Джуди Баталион*

## Свет грядущих дней

*Неизвестные истории женщин — участниц Сопротивления  
в гитлеровских гетто*

*С английского. Перевод Ирины Дорониной*

*Посвящается светлой памяти моей бабули Зельды  
и моим дочерям, Зельде и Билли. L'dor v'dor... Chazak  
V'Amatz<sup>1</sup>.*

*Всем польским еврейкам, участвовавшим  
в сопротивлении нацистскому режиму.*

Варшава, с заплаканным лицом,  
С могилами на каждом уличном углу,  
Переживёт своих врагов  
И увидит свет грядущих дней.

*Из «Молитвы» — песни, посвященной восстанию  
в Варшавском гетто и завоевавшей первую премию  
на песенном конкурсе, состоявшемся в гетто. Песня  
написана еврейской девушкой накануне смерти,  
опубликована в книге «Женщины в гетто»<sup>2</sup>.*

### *Вступление: сорвиголовы*

В читальном зале Британской библиотеки пахло старыми книгами. Я смотрела на стопку заказанных мною изданий о женщинах в истории и взбадривала себя: книг *не слишком* много, нетрудно *одолеть*. Та, что лежала в самом низу, была наиболее необычной: в твердом переплете, обтянутом потрепанной синей тканью, с пожелтевшими необрезанными краями. Я открыла ее первой и увидела две сотни страниц... на идише. Этот язык я знала, но не пользовалась им более пятнадцати лет.

---

*Джуди Баталион* родилась в Монреале, с детства говорила на английском, французском, иврите и идише. Автор книги *White Walls: A Memoir About Motherhood, Daughterhood, and the Mess in Between* («Белые стены: воспоминания о материнстве, детстве и неразберихе между ними»). Эссе печатались в *New York Times*, *Washington Post*, *Forward*, *Vogue* и многих других изданиях. Имеет гарвардскую степень бакалавра по истории науки и степень доктора по истории искусств, полученную в Институте истории искусства Лондонского университета; работала музейным куратором, преподавала в университете. Живет в Нью-Йорке.

<sup>1</sup> От поколения к поколению... Будьте сильными и смелыми... (*иврит*) (*Здесь и далее прим. переводчика.*)

<sup>2</sup> *Freuen in di Ghetto*s (NY, 1946, на идиш).

Я уже было решила положить книгу обратно в стопку. Но что-то заставило меня начать листать ее, я прочла несколько страниц. Потом еще несколько. Я ожидала скучных агиографических плачей и туманных талмудистских дискуссий о женской стойкости и отваге, но вместо этого нашла рассказы о женщинах и... диверсиях, ружьях, маскировке, динамите. Это был настоящий триллер.

Неужели все описанное правда?

Я была потрясена.

\* \* \*

Я давно искала образы сильных еврейских женщин.

<...> Той весной 2007 года, в Лондоне, я пришла в Британскую библиотеку, чтобы найти дополнительную информацию о Хане Сенеш, поискать более подробные свидетельства о ее личности. Как выяснилось, о ней написано не так уж много книг, поэтому я заказала все, в которых упоминалось ее имя. Одна из них оказалась на идише. И я чуть было не отложила ее, не прочитав.

Вместо нее я сначала взяла другую, «Женщины в гетто» («Freuen in di Ghettos»), опубликованную в Нью-Йорке в 1946 году, и стала перелистывать страницы. В 185-страничной антологии Хана упоминалась только в последней главе. До этого 170 страниц были наполнены историями других женщин — десятков неизвестных молодых евреек, которые боролись против нацистов, большинство из них жили в польских гетто. Эти «девушки из гетто» подкупали гестаповских надзирателей, прятали пистолеты в буханках хлеба и помогали строить системы подземных бункеров. Они флиртовали с нацистами, соблазняли их вином, виски, сладостями и, притупив их бдительность, убивали. Они занимались шпионажем для Москвы, изготавливали фальшивые документы, подпольно печатали листовки и распространяли правду о том, что происходило с евреями. Они помогали больным и учили детей, взрывали немецкие железнодорожные линии и виленскую систему электроснабжения. Одевшись не по-еврейски, они нанимались горничными в дома арийской части города, помогали евреям бежать из гетто по канavam и дымоходам, выдалбливая отверстия в стенах и пробираясь по крышам. Они давали взятки карателям, слушали подпольное радио и писали радиобюллетени, поддерживали моральные стандарты в общине, вели переговоры с польскими землевладельцами, хитростью подбивали гестаповцев пронести чемоданы, набитые оружием, через контрольные посты, организовали анти-нацистскую группу в среде самих нацистов и, разумеется, участвовали в общем руководстве подпольем.

За все годы своего еврейского образования я никогда не читала ничего столь потрясающего по обыденности подробностей повседневной жизни и одновременно по беспримерной отваге воюющих женщин. Я понятия не имела ни о том, как много евреек участвовало в Соппротивлении, ни о том, как велик был их вклад в борьбу.

Эти документальные очерки не просто потрясли меня, они тронули меня лично, перевернули мои представления об истории моего народа. Я происхожу из семьи польских евреев, переживших Холокост. Моя бабуля Зельда (в честь которой я назвала свою старшую дочь) не участвовала в Соппротивлении, и мое понимание выживания сформировалось под воздействием истории ее успешного, но трагического спасения. Она — с ее высокими скулами и курносый носиком совсем не похожая на еврейку — бежала из оккупированной Варшавы, вплавь перебралась через несколько маленьких речек, пряталась в монастыре, пофлиртовала с каким-то нацистом, который посмотрел сквозь пальцы на то, как она забиралась в грузовик, перевозивший апельсины на восток, и в конце концов нелегально перешла границу с Россией, где — по иронии судьбы — жизнь ей спасло то, что она была отправлена в сибирский трудовой лагерь. Моя бабуля была сильной, как бык, но она потеряла родителей и трех из четырех своих сестер, все они остались в Варшаве. Эту жуткую историю со слезами ярости в глазах

она рассказывала мне каждый день, когда мы бывали с ней дома одни после моего возвращения из школы. Монреальская еврейская община, в которой я выросла, состояла в основном из семей, которым удалось спастись от Холокоста; их истории, так же, как история моей семьи, исходили той же болью и теми же страданиями. Мои гены были проштампованы — даже изменены, как полагают современные нейробиологи, — травмой. Я росла, окруженная аурой перенесенных мучений и страха.

А здесь, в этой книге, была описана другая история женщин военного времени, и она меня ошеломила. Здесь речь шла о женщинах, которые действовали с яростью и мужеством, даже с жестокостью, занимаясь контрабандой, добывая секретную информацию, устраивая диверсии и участвуя в боях; они гордились своей опасной деятельностью. Авторы этой книги не взывали к состраданию, они славили активность и бесстрашие. Женщины, зачастую умиравшие от голода и пыток, проявляли храбрость и дерзость. У некоторых из них была возможность спастись бегством, но они ее отвергли, а иные даже предпочли вернуться в это пекло и сражаться. Моя бабуля была моей героиней, но что было бы, если бы она решила рискнуть жизнью, остаться и принять участие в борьбе? Меня преследовал вопрос: как бы поступила я в подобной ситуации? Боролась бы или убежала?

\* \* \*

Поначалу я думала, что несколько десятков женщин — бойцов движения Сопротивления, упомянутые в книге, исчерпывают их общее число. Но стоило мне углубиться в эту тему, как невероятные истории о женщинах, участвовавших в борьбе, стали появляться из каждого угла, я находила их в архивах, каталогах, получала от незнакомцев истории жизни их семей по электронной почте. Я обнаружила десятки женских воспоминаний, опубликованных маленькими издательствами, и сотни личных свидетельств, относящихся к периоду от 1940 года до наших дней, написанных на иврите, польском, русском, немецком, французском, голландском, датском, греческом, итальянском и английском языках.

Ученые, изучающие трагедию Холокоста, спорили, что «можно считать» явлениями еврейского Сопротивления. Многие давали этому явлению самое широкое определение: любое действие, утверждающее человеческое достоинство еврея, любое персональное или коллективное действие, даже непреднамеренное, которое отрицает политику и идеологию нацизма, — пусть это будет даже просто сохранение собственной жизни. Другие считали, что такое слишком общее определение умаляет заслугу тех, кто рисковал жизнью, активно противодействуя режиму, и что есть разница между сопротивлением и сопротивляемостью.

Проявления непокорности в среде польских евреек — мои изыскания сосредоточивались на Польше — имели очень широкий диапазон: от изощренно продуманных и тщательно распланированных операций вроде накопления большого количества динамита и устройства диверсий до простых и произвольных действий, иногда напоминавших фарс, — с маскировкой, переодеваниями или когда кто-то, кусаясь и царапаясь, всего лишь вывертывался из рук фашистов. Для многих целью было — прятать евреев; для других — умереть с достоинством и передать это достоинство в наследство потомкам. В книге «Женщины в гетто» освещалась деятельность «женщин-борцов» — подпольщиц, вышедших из еврейских молодежных организаций и работавших в гетто. Эти молодые женщины были бойцами, издателями подпольных бюллетеней и социальными активистками. В частности женщины составляли подавляющее большинство связных, или курьеров, игравших особую роль в самом сердце всех операций. Они переодевались, выдавая себя за неевреек, и перемещались между огороженной зоной гетто и остальной частью города, тайно переправляя людей, собирая информацию, перенося деньги, документы, оружие, — многое из всего этого они добывали сами.

*Александр Рыбин*

## ПОДАВЛЯЯ ИНСТИНКТ ВОЙНЫ

*Рассказы*

*Эти невыдуманные рассказы — о войне, о разных ее гранях. О тех проявлениях войны, которые обычно не попадают в новостные медиа: собранные в этих текстах впечатления, факты, чужие истории невозможно быстро и легко продать потребителю — чтобы совместить и подробно разглядеть их, необходимы значительные отрезки времени.*

*А.Р.*

### *Над изумрудным Евфратом*

На обочине лежал мертвый верблюд — темная жуткая дыра в его брюхе. На песке лежал. Мы ехали по матово-черной автотрассе через пустыню, через плоскую до горизонта Сирийскую пустыню. Я и Настя выворачивали головы, чтобы лучше рассмотреть мертвого верблюда. Водитель-сириец не обратил на него никакого внимания.

Мы ехали в город Дейр-эз-Зор.

В Сирии одиннадцатый месяц продолжался гражданский конфликт, местами шли жестокие бои.

Водитель, Саидом его звали, подобрал нас у развалин крепости Каср-эль-Хейр. Мы никуда не спешили: если бы он не остановился, мы бы не расстроились. Нам нравилось это плоское пустынное пространство, ровное море песка с красным утесом развалин Каср-эль-Хейр. Мы сидели на крепостной стене, свесив ноги, и молча вглядывались в горизонт — полное умиротворение в той самой точке, которую на английском называют «middle of nowhere». Небо неясное, бледно-голубое, тонны мельчайших частичек пыли висели в воздухе, мутили небо. Солнце — размытое белое бельмо. Ветер, как засыпающий пьяница, вдруг оживал на несколько мгновений, гудел, цепляясь за каменные руины, и снова затухал, «отключался». И ровное светло-коричневое (у американцев тогда вошло в моду называть подобный оттенок coyote) пространство, уходящее десятками километров к горизонту. Мы продолжали молчать.

---

*Александр Рыбин* родился в 1983 году в г. Кимры Калининской области. Окончил филологический факультет Тверского университета. Печатался в литературных журналах, в том числе — «Неве», «Звезде» и «Новом мире». Проживает от Аддис-Абебы до поселка Аксарка в Ямало-Ненецком автономном округе — увлечения жизнью к тому обязывают. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Утром, глядя в карту, попытались прикинуть, сколько километров нам придется идти через пустыню к Каср-эль-Хейр от ближайшей автотрассы. Прикидывали, где ближе будет высадиться из попутки. «Километров четырнадцать-пятнадцать придется топтать по пустыне». Но это сирийская карта — а сирийские карты неточные, путаные.

Каср-эль-Хейр — остатки арабской крепости, построенной больше тысячи лет назад, в самом центре пустыни. Мы стремились туда не из фанатичного интереса к истории — но из эстетических побуждений. Ярко-красные руины в сердце пустыни — хотели увидеть, насладиться, приобщиться.

Водитель высадил нас в деревне Талибани, объяснил, что отсюда по прямой до крепости десять километров. Талибани — хаотичное нагромождение среди песков бетонных домов-ящиков, огороженных глухими заборами. Мужчины с морщинистыми обветренными лицами, морщины — как трещины на жестоко иссушенной земле. Дети с воплями бегали через клубы пыли за консервной банкой — играли в футбол. По улице (улице? или просто пространству между заборами?) гнал овец седобородый старик в традиционном для сирийцев красно-белом платке — платок повязан тюрбаном на голове, «хвост» его закрывал шею. Мы спросили направление на Каср-эль-Хейр: «Уэйн тарик Каср-эль-Хейр?» — старик показал прямо через деревню. Мы шагали сквозь пыль мимо заборов, на спинах туристические плотно набитые рюкзаки. Остановился пикап. «Уэйн?» («Куда?») — спросил водитель. Мы ответили, и он показал жестом, чтобы садились в кабину. Оказалось, что к руинам крепости вела однополосная, но качественная асфальтовая автодорога. Высадив нас, пикап поехал дальше — в некую бедуинскую деревню, где хорошая вода.

Мы сидели на древней каменной стене между полукруглых, тоже из красного камня, башен. Настя — девочка-соломинка, каштановые волосы по ветру, очки с разводами на линзах (в пыльном воздухе их регулярно надо протирать, ей надоело), в бледно-синих джинсах, в зеленой мохнатой фуфайке, пальчики ее машинально гладили шербатый раскрошившийся камень — загадочно улыбалась вдаль. Мимо проезжал мерседес — я махнул ему рукой: то ли ради приветствия, то ли уверенный в безнадежности его остановить — сам не понимал, — но мерседес остановился, и водитель настойчиво принялся приглашать нас в салон. Он сигналил, зазывающе махал руками. Пришлось бросить горизонт и спуститься с красной стены. Мерседес направлялся в Дейр-эз-Зор.

Водитель Саид в деловом костюме, в галстучке. Сообщил нам, что русские — очень хорошие, «супер гуд», что Россия для Сирии лучший друг, «Русия Сурия бест ференде». Мы ехали через эту великолепную, по-настоящему пустынную Сирийскую пустыню среди волн барханов. Лишь мертвый верблюд на обочине. Ехали больше часа — только песок и редкие клочки чахлой растительности. Не испорченная ближневосточными ветвями человечества пустыня — не перебитая оросительными каналами, не взлохмаченная нефтяными «качалками». Я восхищался, пожирал глазами однообразный пейзаж — водителю кивал и поддакивал.

Саид зазывал нас к себе в гости в Дейр-эз-Зор, в свой родной город. «Дэйр-эз-Зор проблемы, война, армия, бандиты», — вываливал я с вопросительной интонацией весь свой запас арабского. Нас предупредили ранее, что в этот город соваться не стоит: там происходят кровавые столкновения между армией, полицией и противниками правящего режима, противниками президента Башара аль-Асада. «Нет, нормально. Были проблемы, армия убивать бандиты, сейчас все хорошо», — Саид улыбался, он реагировал на нас,

как любой нормальный сириец, — он нас всячески убеждал стать его гостями. Мы с Настей переглянулись и согласились.

Через два с лишним часа езды появились низкоэтажные бетонные и глиняные дома за глухими заборами — пригороды Дейр-эз-Зор. Появились пальмы, высаженные во дворах и вокруг домов. Чем ближе к городу, заросли пальм гуще, дома выше и аккуратнее. Фонари вдоль трассы. Газоны. Мы остановились — блокпост. Солдаты в оливковой форме и с «калашниковыми» в руках. Бетонные блоки, окрашенные в цвета сирийского флага. На разделительной полосе пустая бочка — и тоже в цветах сирийского флага. «Мафи мушкеле, — сказал Саид солдатам, высунув голову из машины. — Садык мин Русия» («Нет проблем, друзья из России»). К автомобилю подошел человек в темно-синей форме и фуражке — полицейский, — отдал Саиду честь, пожал руку, что-то сказал на арабском. Мы поехали дальше.

Въехали в гущу арабского — подвижного, хаотичного, сигналящего и крикливого — города. Многоэтажки вдоль улицы — на первых этажах магазины и кафе, остальные этажи жилые или под офисы — на балконах вывески или сушится одежда и белье. Южный, вечно летний город — поэтому балконы длинными шеренгами, в каждой квартире, в каждом офисе выше первого этажа обязательно балкон. Обломанные пальмовые ветви на тротуаре. Из кафе клубы ароматного дыма: от кальянов или готовящейся еды.

Саид неожиданно, без объяснений остановил машину. Вышел и начал вытаскивать из багажника наши рюкзаки. Не глядя в глаза, торопливо объяснил, чтобы мы стояли здесь, а он доедет «вон до туда» — неопределенно махнул рукой вперед — и вернется за нами. Оставил нас с рюкзаками на тротуаре и уехал. «Козел, не вернется он, чую, не вернется», — сказал я Насте. «Подожди, может, мы что-то не поняли. Не может же он привезти нас и бросить в незнакомом городе, если сам звал в гости», — рассуждала Настя. Мы сели на рюкзаки и смотрели в сторону, куда уехал Саид. Минут пятнадцать смотрели-ждали. Или двадцать. Мимо промчался оливкового цвета пикап с развивающимся сирийским флагом. В кузове пикапа пятеро вооруженных солдат — автоматы направлены на тротуары и дома. «Да, не приедет. Вот козел», — согласилась Настя. Мы решили оставить рюкзаки в ближайшем кафе и погулять по городу — если уж оказались тут, то надо хотя бы погулять, посмотреть.

Я читал про Дейр-эз-Зор раньше. В городе ничего исторически или культурно выдающегося. Столица сирийской нефтедобычи. Он и строился под работников нефтяной индустрии. Современный безликий город — блочные многоэтажки, четко спланированные улицы на европейский манер. В России подобных городов полно в нефтяном Ханты-Мансийском или газовом Ямало-Ненецком округах. Одна-единственная достопримечательность в Дейр-эз-Зор — подвесной мост через Евфрат, построенный французами в 1920-х годах. «Значит, дойдем до центра, глянем, что там, потом до моста, и поедem», — сказала Настя.

Мы зашли в первое попавшееся заведение — в парикмахерскую. Несколько подростков внутри сидели в креслах и смотрели телевизор. Мы поздоровались. Среди них оказался один англоговорящий. Мы попросили оставить у них рюкзаки часа на три-четыре. «Погуляем и вернемся за ними. А то с рюкзаками ходить очень тяжело», — объяснил я. «Хорошо, хорошо», — согласился подросток. По телевизору показывали некое массовое действо: арабы что-то скандировали, плотный человеческий вар, кулаки вскидывались вверх. «Это что?» — спросил я. «Это Дейр-эз-Зор. Это митинг сегодня против Асада, — радостно объяснял англоговорящий. — Вы за Асада или против?» Другие подростки, услышав знакомое «Асад», придвинулись ближе к нам. Если я неправильно отвечаю, то мы можем здесь встрять, нарваться на неприятности. Люди митингуют, блокпост на въезде, солдаты вооруженные. Этих пятеро, я — один.

## Пой, манасчи!

*Памяти Рамиса Рыскулова*

*В ночь на 27 января скончался последний великий кыргызский поэт XX века — Рамис Рыскулов. Мой старший друг в течение полувека. Красивый, беззаботный и «безземельный» Верлен этой части света. И немножко Модильяни... Вспоминают, что это был такой большой ребенок, в чем-то наивный и доверчивый, полный вселенской доброты. Стихи его сродни стихам Велемира Хлебникова, а живопись — в одном ряду с работами Мавриной, бабушки Мозес, отчасти Генералича, Пиросмани... Беззащитный, полный музыки Слова, живший всегда в пламенных метафорах своего бытия.*

*Мир отвечал ему тем же. Его популярности в кыргызской столице середины 60-х обзавидовался бы любой Майкл Джексон. Когда он, молодой, чернокудрый — а его грива была шире плеч, куда там Чёрной Пантере Анджеле Дэвис! — шел, улыбаясь и воздымая красный флаг, на всём пути останавливались троллейбусы, и робкие кыргызские девушки, расширив до изумления чарующие восточные глаза, любовались своей воплощенной мечтой...*

*Он и был ею, этой мечтой.*

*И даже милиция как миленькая терпела и немислимую гриву, и трепещущий красный флаг, и стихи, которые тут же нараспев сочинялись этим местным принцем! Впрочем, может быть, ментам было указание — не связываться...*

*Я всю жизнь переводил его верлибры, которыми был устлан пол его маленькой комнатухи на «Ботанике», на краю города. Он прожил 86 лет.*

*Рамис, мы все проводили тебя...*

*Пусть встретят теперь тебя небесные картины — одна краше другой...*

*Вячеслав ШАПОВАЛОВ,  
Народный поэт Киргизии*

### *Песня лужицы*

...Я — маленькая лужица,  
во мне опрокинулось небо,  
и оно меня переполняет  
и сводит с ума своей высотой  
бездонной.  
Как мучительны первозданность мира,  
мироздания вечный простор —  
эти звёздные взлёты, салюты, сполохи  
и сиянья,  
эта безбрежность мартовских рассветов,  
эти сумерки синих нояблей!  
Всё это —  
во мне.  
Как мне вместить этот мир,  
что так легко воплотился  
в моём маленьком сердце! —  
иногда мне хочется  
съёжиться, исчезнуть, затаиться,  
пропасть.  
Но и маленькой лужице  
не убежать от себя.  
И значит —  
мне суждено ощутить  
распирающее величие пространства,  
головокруженье,  
головокруженье,  
жизнь,  
смерть,  
жизнь!..  
И лишь ледяною ночью  
под кованым ударом копыта  
разобьётся мой мир  
на тысячу  
бесконечных  
осколков.

### *Киргизский язык*

Ещё самим собой не познан,  
Он устремляется вперёд —  
В солнцеворот земной  
И в звёздный  
Круговорот.  
Напев его неудержимый —  
Словно стремление рек в ночи.  
Пой о веках, что мчались мимо,  
Пой,  
Манасчи!

Язык, сработанный на славу,  
Познай  
До сути корневой  
И уподобься его нраву:  
Как дышишь —  
Пой!..

### *Чудятся лошади*

мимо дома  
карей тенью мгновенье промчалось  
прозвенели копыта  
у забора поросшего хмелем  
всё затихло

дни идут  
и на рыжей лошади  
осень  
остановилась у дома  
слышу долгое тихое ржанье  
слышу скрип деревянной калитки  
не уходит рыжая лошадь  
дни идут

белый конь стоит у ворот  
словно лёд  
звенит его сбруя  
неумолчно звенит — а над домом  
поднимается ветер  
и снег начинает  
свою бесконечную пляску

я давно отошёл от окна  
и не знаю  
что за время зовёт меня

рвётся сердце из-под крыши тяжёлой  
и годы гудят  
как затихающие грома  
это звенят копыта  
и с ума меня сводит  
удаляющийся этот гром

и мне чудятся  
чудятся  
чудятся лошади

### *Не разлучайте влюблённых!*

Не разлучайте влюблённых,  
не разлучайте!  
Не назначайте дознания, недоверия не излучайте,  
не лезьте в их мир беззащитный —  
это грешно,  
не разрывайте сердец —  
у влюблённых ведь сердце одно.  
Не убивайте любви,  
завистливых сплетен не надо,  
ибо разлука для любящих — проклятие ада,  
вспомним безумье Меджнуна,  
расколотый Гамлета мир —  
сколько печали!  
Как хорошо им, влюблённым, вдвоём,  
вы замечали?  
Ивы плакучие,  
нивы для них голубые! —  
не разлучайте влюблённых,  
какие красивые все они  
и молодые...

### *Урюковые деревья*

Зацвели на склонах урюковые рощи,  
с каждым часом  
всё неистовее бело-розовый пожар,  
улететь собрались бушующие деревья —  
вижу их, облегчённо-воздушных,  
с невидимыми воскрылиями лепестков!..  
И из каждого цветка  
смотрит в мир смеющийся глаз,  
смаргивая росинку слезы —  
это весна так неожиданно зажглась,  
это её бело-розовые следы.  
Начинается  
кратковременный праздник  
не убравшейся вовремя жаркой зимы:  
белым маревом урюка полна долина,  
солнце выбирается из пчелиной кутерьмы:  
как коротка эта жизнь,  
но зато это — весна!..  
Окружённый маревом пчёл, завидую пастуху,  
который каждый день смотрит  
на цветущий урюк  
и держит каждый день в ладонях своих  
весну —  
живой бело-розовый смех,  
огромный, как сердца стук!..

### *Красная береза*

Ветви красной березы  
Жжёт солнце и хлещет гроза.  
Лиловой смородины гроздь  
Горят, словно волчьи глаза.

Аргамак золотым чылбыром  
трясёт! — его масть черна,  
он ведёт кобыл по обрывам,  
царь своего табуна.

Не веди, жеребец могучий,  
свой косяк среди красных скал,  
тогда бы и лучший табунщик  
по ущельям табун растерял.

Толпы лесов на склонах  
вершинами рвут облака,  
горстями градин холодных  
небо хвою сечёт свысока.

Восток рассекает зарница —  
слышной тишины голоса,  
и песнею греется птица,  
и молча сторает роса.

*Переводы с киргизского  
Вячеслава ШАПОВАЛОВА*

---

## ХУДОЖНИК РАМИС РЫСКУЛОВ — ЭТО ДЕТСТВО МИРА

Живопись Рамиса и поэзия Рамиса не могут существовать отдельно, они взаимодействуют, взаимопроникают друг в друга. Силлабо-тоническое стихосложение с его устоявшимися структурами и классическая живопись с ее научно выверенной перспективой, строгими колористическими решениями и композиционной утонченностью противоречат стихийному менталитету поэта-подростка, художника-ребенка.

Рамис Рыскулов — это детство мира, ибо скучную и серую реальность повседневности он воспринимал в ярких праздничных красках, а стихи его — как лепет младенца, как предчувствие речи, как преодоление немоты. Именно поэтому он так свеж, наивен и чист. Картины Рыскулова созданы в традициях наивного искусства и стоят в одном ряду с творениями Пиросмани, Генералича, Пурыгина, Мавриной. Рыскулов схематичен, и холсты его отражают скорее внутренний, слегка смещенный мир человека, который выламывается из социума, находясь вроде бы внутри сообщества, но одновременно и вне его. Картины и рисунки Рыскулова — это еще и квинтэссенция одиночества, а если взглянуть с философской точки зрения — апология его. Рассматривая холсты Рамиса, задумываешься об особенностях и отдельности Рыскулова, о явной обособленности этого художественного явления. Стихия его творчества близка стихиям Владимира Яковлева и Анатолия Зверева, для которых реализм изображения всегда был на втором месте (а может, и на десятом), — на первом же всегда стояли чувство, страсть и пассионарный порыв.

Таков Рамис Рыскулов — творец вне рамок, вне правил и вне традиций.

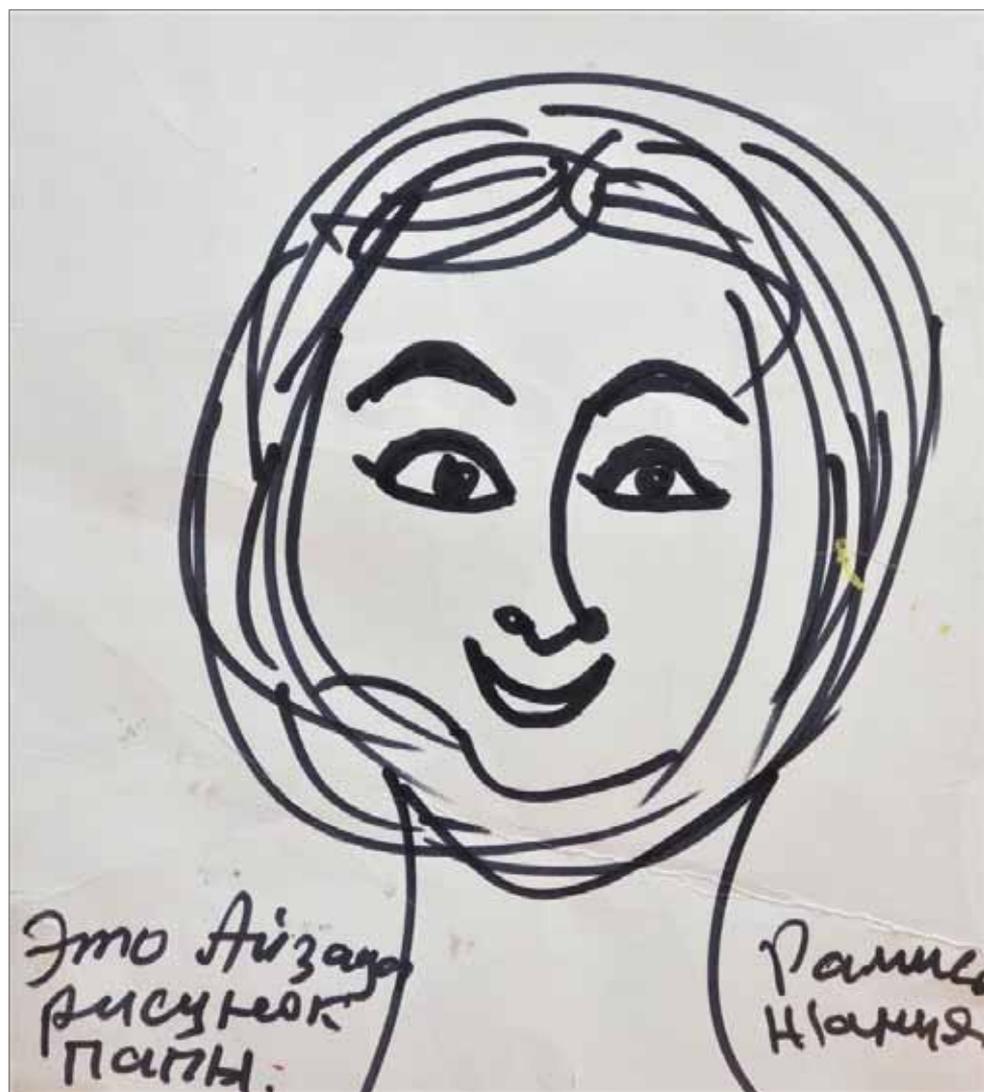
*Владимир Лидский*

















*Олег Макоша, Александр Мелихов*

## Здесь и там

*Письма из провинции в провинцию*

Есть блаженное слово провинция.

*Дон Аминадо*

**Александр Мелихов:**

Когда я задумался о том, что будни провинции почти исчезли из наших журналов, я пожалел, что так давно оторвался от своих провинциальных корней. Хотя, мне кажется, в России, где все так зависит от власти, провинцией оказывается вся страна за пределами высших правительственных кругов. Но раз уж Петербург именуется тоже столицей, пусть всего лишь культурной, я решил написать отличному нижегородскому прозаику Олегу Макоше.

**Олег Макоша:**

Чтобы написать о провинции, надо пожить в столице.

Хотя бы год. Может быть, два. Или три.

В провинции — лучше.

Но и в столице — лучше.

Я когда пацаном был, каждое лето ездил на дачу в Ленинградскую область. В Зеленогорск, бывшие Териоки, в Комарово, которое песня, еще куда-то, сейчас уже не вспомню. Семья моей тетушки снимала там домик или половину избы, и вот я ездил к ним. Надолго.

И когда возвращался домой к первому сентября, к школе — в Нижний Новгород, — разницу чувствовал.

И пусть Ленинград не Москва, но он, конечно, был более центральный город, более столичный. По крайней мере, о большом теннисе или о виндсерфинге, не говоря уж о скейтборде, мои нижегородские одноклассники понятия не имели.

---

*Макоша Олег Владимирович* — прозаик. Родился и до последнего времени жил в Нижнем Новгороде. Работал: строителем, грузчиком, дворником, заведующим гаражом, слесарем-механиком в трамвайном депо, продавцом книжного магазина.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

*Мелихов Александр Мотелевич* — прозаик, публицист, литературный критик. Родился в городе Россошь Воронежской области. Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Живет в Санкт-Петербурге. Постоянный автор «Дружбы народов».

А я имел — в Комарово и корты были, и серфингисты, и финки, загоравшие топлес. Кстати, о финках... Ладно, о финках как-нибудь потом.

И еще книжки. В Ленинграде читали не то, что в Нижнем. О Пикуле я впервые услышал там. О Стругацких, конечно. Да и о «Мастере и Маргарите».

Теперь о провинции.

Никогда во мне не сидел комплекс провинциала, ни в ту сторону, ни в эту. Имею в виду, не было ненависти ни к столице, ни к своему городу. Хотя с годами даже стало нравиться, что я провинциал, а это тоже, конечно, комплекс через противное.

Опять отвлекся.

Чем мы тут живем по сравнению с Москвой?

Тем же самым, только всего меньше. Просто по масштабу. Весь Нижний Новгород — один какой-нибудь московский округ. И то сказать, в Нижнем народу 1,2 миллиона, а в Москве — 12. И только официально.

Это, наверное, главная отличительная черта. Не то чтобы границы стираются, но модель жизни строится по одному образцу. Воруют — но меньше, создают — но меньше, дороги — уже, пиво — водянистее (вру — одинаковое), хулиганы — не так модно одеты.

Может быть, только пьют больше, да и то не факт.

И кстати, об одежде. Я, когда через полгода жизни в Москве съездил в Нижний Новгород, — обратил внимание на то, в чем ходят люди. Да в том же, но это «то же» в Москве носили месяцев семь назад.

И еще.

Грубость. Нет ни малейшего желания порочить родных нижегородцев, но население, везде — на улице, в магазине, в автобусе — грубее. В Москве не так. В Москве, возможно, люди научились уживаться. Друг с другом. Черт его знает, на кого нарвешься, и поэтому грубить — опасно. Да и вообще, не один ты здесь такой резкий, все тут понаехавшие, а значит, пассионарные, предприимчивые и умеющие отстаивать собственное достоинство, особенно, когда никто на него не покушается. (И — да, есть у молодых москвичей и гостей столицы одна очень неприятная черта, которой нет у нас — людей классического советского воспитания и провинциалов. Они не уступают дорогу. Им так крепко внушили мысль «возлюби себя», почему-то напрочь выкинув «как ближнего», что им чисто запахло чуть податься в сторону, чтобы вы могли взаимообразно разойтись).

То есть в провинции — все более домашнее.

Дали в ухо — но по-хорошему, так сказать. По-свойски. Чуть ли не любя.

Но это было в мой первый приезд.

А когда еще полгода спустя, наевшись столичных пирогов с котятами (нет, еще не досыта), я опять оказался в Нижнем, местные люди показались мне куда симпатичнее московских. Они — люди. Пусть часто грубые, глупые или страшные (ага, на себя посмотри), да хоть какие, но — люди. В Москве — стяжатели. Добыватели личного удовольствия, любым путем за счет окружающих (таких же, кстати, ухарей). Переиначивая фразу из того кино с Брэдом Питтом, можно сказать: «Москва не город, Москва — бизнес».

Но взгляд мой, естественно, односторонний.

Я почти не вижу людей вне их функций или движения.

И возможно, то есть — обязательно, в Москве есть люди тонкие, душевные и интеллигентные. Забегая вперед, скажу — да есть, встретил.

А пока если в Нижнем Новгороде (или любом другом провинциальном городе?) хамят, то делают это от души и всего сердца, в Москве — от деловой озабоченности и желания выгоды.

Значит ли это, что в провинции больше души? Понятия не имею. Но мне так показалось (посмотрим, что будет в мой третий приезд).

Хотя сервиса больше в Москве.

Здесь, когда тебя тормозят на подходе к эскалатору, то вежливо просят поставить поклажу на ленту осмотра, натянуть маску, перчатки и вообще не выпендриваться, а вести себя согласно указу президента. А потом желают счастливого пути. Это — правда. И это — здорово.

В провинции проще.

Я уже упоминал об этом. Главное, не доводить эту простоту до той, что хуже воровства.

(А вот о воровстве. Не имея фактов, опираясь только на априорный (не эмпирический), умозрительный опыт, думаю, а не воруют ли в Москве крупнее, а в провинции подлее? И вообще, не есть ли главный специалист по провинциальной жизни Салтыков-Щедрин? Ничего же, наверняка, в этом деле — расхищении средств и дурости начальников — принципиально не поменялось с его времен?)

И пробки!

Куда ж без них.

В Нижнем Новгороде, клянусь, пробки не такие упругие. И долгие. Опять же, потому что меньше машин. А ведь все знают, как мы не любим московские пробки.

А меньше пробок — меньше автохамства.

Хотя и в провинции его навалом.

За исключением города Владимира. Там, если подходишь к переходу, даже к бессветофорному, даже один, все автомобили дисциплинированно останавливаются и ждут, когда ты закончишь маневр. А не как в Москве или Нижнем — ты по одной половине дороги переходишь, а по другой машины летят на всех парусах, обдавая тебя грязным снегом из химических луж.

Еще в провинции много лет существует страшная легенда о московских заработках. Спроси любого, и любой скажет, что в Москве самый последний хмырь у гастронома получает двести тысяч рублей в месяц и такую же премию в конце года, а зарплаты ниже восьмидесяти тысяч пятисот рублей не существует.

И, естественно, все ее хотят.

Зарплату.

Для этого стремятся в Москву.

Что хотите мне рассказывайте, но из десяти моих знакомых, в столицу бы переехали девять с половиной. С половиной, потому что один колеблется или кобенится.

И еще мы, провинциалы, их, москвичей, не любим.

Потому что они всю Россию объедают. Потому что все деньги — сюда. В смысле, туда — к ним. Потому что у них — дороги, а у нас направления. Потому что у них медицина, а у нас поликлиники. У них бабы, а у нас... нет, у нас тоже бабы, да еще какие, почище московских.

И так далее, и тому подобное.

И всякое прочее.

Вот я и утверждаю: чтобы писать о провинции — надо пожить в Москве.

#### **Александр Мелихов:**

«Дорогая моя столица, золотая моя Москва!» — меня всегда охватывал восторг, когда из гундосого репродуктора раздавался ликующий голос неведомого Бунчикова. Хорошо, я тогда еще не слышал каламбура «Хор мальчиков и Бунчиков», и Москва могла сиять в наших казахстанских степях незамутненным светом. В ту пору первые пробудившиеся амбиции властно побуждали меня любой ценой ассимилироваться, то есть уподобиться нашей поселковой братве, поклонявшейся, как я теперь понимаю, тоже чрезвычайно важной ценности — лихости. Беда была только в том, что за отсутствием других способов реализации она слишком часто принимала антисоциальные

## «Господи, вспомни, ведь это же я...»

*О сборнике стихов Ефима БЕРШИНА «Мёртвое море»  
размышляют Андрей ПЕРМЯКОВ и Нина ГАБРИЭЛЯН*

*Андрей Пермяков*

### СВОЯ ВОЙНА

Некоторое время назад электронный журнал «Формаслов» опубликовал подборку Ефима Бершина<sup>1</sup>. Формат публикации оказался несколько неожиданным — все-таки, привычней, когда сетевые издания предпочитают новые тексты, а в данном случае читателю были представлены стихи, написанные более тридцати лет назад, во второй половине восьмидесятых. Выпускающий редактор, Яна-Мария Курмангалина, отметила: «Обычно в ранних текстах чувствуется некоторая неуверенность созревающей творческой личности, еще только нащупывающей свой путь, но здесь мы видим нечто совершенно иное, а именно — зоркий взгляд и суггестивную глубину, ту самую, которая в будущем станет одной из определяющих черт поэзии этого автора».

Абсолютно верно. Более того: атмосфера стихотворений напомнила вполне определенную вещь, созданную Бершиным гораздо позже: «Millenium»<sup>2</sup>. Между совсем ранними стихами и той поэмой минуло несколько эпох, но город и Ойкумена менялись лишь внешне. Мир оставался страшным:

И расплзалась по Москве,  
как трёхголовая Химера,  
пристегнутая к голове  
нечеловеческая эра.

Уточним: «страшным» именно в блоковском смысле. Привлекательным в своей тотальности и алогичности. О таком мире лирический герой знает примерно всё, но здесь он чувствует себя именно героем, а не жертвой обстоятельств. Это уже немало, этого уже достаточно, чтоб изо рта вырывалась «лишь благодарность» — по формуле Бродского. Обратим внимание: и поэма начинается словом «спасибо», и в упомянутой выборке из ранних текстов это слово встречается чаще многих иных.

---

<sup>1</sup> *Ефим Бершин*. Через Москву, неведомо куда... (ред. Я.-М. Курмангалина) <https://formasloff.ru/2020/03/01/efim-bershin-cherez-moskvu-nevedomo-kuda>

<sup>2</sup> Millenium: Поэма распада. — «Новый мир», 2010, № 12.

Кому адресована благодарность? Ответ неоднозначен и не слишком прост. Да, кто-то наблюдает за поэтом и даже обещает нечто. Как в стихотворении, впервые напечатанном в тот же год, когда появился «Millenium», но вошедшем в новую книгу:

На меня из тучи бородатой  
пялится, глазеет с давних пор  
то ли зритель  
то ли соглядатай,  
то ли вор.  
<...>  
Кто-то шепчет и шуршит над ухом,  
и сулит награду, и поёт...  
Словно я и вправду нищий духом,  
и придет царствие моё.

В суровой же прозе, точней — в интервью, данном в том же 2011 году, звучат ответы более прямые:

«— У вас есть такая фраза: "Русский поэт — это переводчик с Божьего на русский".

— Да, я абсолютно убежден, что я — переводчик. Я сам не создаю никаких произведений, я просто перевожу на русский те импульсы, которые мне откуда-то являются. Вот и всё»<sup>1</sup>.

Упоминаний Бога и обоих Его Заветов в новой книге немало. Однако тональность и даже грамматическое время разговоров, кажется, с течением лет переменялись:

Господи, вспомни, ведь это же я —  
в новой матроске.  
Рядом со мною мама моя  
на перекрёстке.

Так и стоим под ослепшим дождём  
южного полдня.  
Словно чего-то по-прежнему ждём.  
Господи, вспомни!

Сам меня выбрал и сам не узнал,  
и никогда не узнаешь, похоже.  
Я ничего Тебе не доказал.  
Ты мне — тоже.

Мир остался прежним, напряженным; всякий город — Содом, каждое море — Мёртвое. Но трагедия сместилась вглубь: «Это во мне умирает Бог,/ который в меня так верил».

Вообще-то, отношения поэта Бершина с горными силами никогда не были простыми. Елена Черникова в материале, аннотированном как «Фрагменты незавершённой книги о Бершине» пишет: «Бершин есть перевоплощение Лермонтова и его раскалённого *зачем?* — Богу. Я не по словам сужу, я по звуку». И далее, характеризуя творчество на уровне не манеры, но идей: «...то спорит с Богом, то устраивает Ему форменные скандалы, то напрочь отказывается понимать, то просится в гости <...> — и всё в формах столь энергичных, в которых сие возможно разве что в семейной жизни, где все свои»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> «Принципиальный противник умственного процесса». Беседа Ефима Бершина с Натальей Крофтс. — 45-я параллель, № 15 (183) от 21 мая 2011 г.

<sup>2</sup> Елена Черникова. Поэт Ефим Бершин и его сообщение. — Литклуб, 20.05.2016. [http://lit.lib.ru/c/chernikowa\\_e\\_w/text\\_0310.shtml](http://lit.lib.ru/c/chernikowa_e_w/text_0310.shtml)

Да, упоминание Лермонтова в этом контексте бесспорно, как, наверное, и Вениамина Блаженного. Однако Бершин ведь сам — автор интереснейших материалов-воспоминаний о старших современниках. В его случае «старшие» это и есть влияющие: в упомянутой беседе с Натальей Крофтс, состоявшейся, напомним, десять лет назад, самыми молодыми из названных им любимых авторов оказались Сергей Гандлевский и Марина Кудимова. Вообще, логично: говоря о метафизическом, необходимо видеть, сколько не сделано, сколько упущено предшественниками и современниками. А новые пусть начинают сами — тема такая, что всем хватит, никто не уйдет обиженным. Тем более, нынешняя теплохладная постсекулярность, снисходительно позволяющая вере быть, в массе своей не слишком интересна.

Список значимых поэтов оказался кратким, но, даже в нем легко обозначить двух авторов, особенно важных для Бершина. Для первого из них он нашел лаконичную, однако настолько исчерпывающую формулировку, что собеседнице все в том же интервью-разговоре осталось лишь ее процитировать: «— Но, помнится, в своей статье о Левитанском вы подвели очень конкретные итоги: он ввел “бесконечную” строфу и реабилитировал глагол»<sup>1</sup>.

Оба момента в полной мере относятся и к самому Бершину. А взаимодействие со стихами Левитанского порой бывает у него довольно неожиданным. Вот, скажем, написанное не в пародию, но явно в пандан знаменитым строчкам про «будет апрель»:

И не взорвётся в июле воинственный дождь —  
как не воротится в ствол раскалённая пуля.  
Просто не будет июля. И ты не придёшь.  
И хорошо. Проживём как-нибудь без июля.

Конечно, моменты технические, пусть и важные, служащие коммуникации через десятилетия, становятся, начиная с определённых высот, делом десятым. Есть у Бершина работа, возможно, даже более известная, чем заметки о Юрии Левитанском. Я имею в виду большое эссе, посвящённое Инне Лиснянской<sup>2</sup>. И в том эссе, и в статье, посвященной Левитанскому, присутствует цитата из Мандельштама, одна из самых ранних и самых знаменитых у него: «Неужели я настоящий./ и действительно смерть придёт?» В отношении Юрия Давидовича слова эти отражают, скорее, шок ухода — нас покинул очень молодой душевно человек. А в случае Лиснянской строки делаются основанием важнейшего ценностного конфликта: и поэт настоящий, и смерть придёт, но насколько подлиннен сам окружающий мир? Кто стоит за и над этим миром? Тут лучше процитировать эссе: «Несоответствие между миром и представлением поэта об этом мире, как кремень и кресало, рожают искру-строку».

Несоответствие очень сходного рода во многом определяет ход новой книги Ефима Бершина. Несоответствие настолько жесткое, что заставляет вспомнить о войне. Точней, о разных войнах. Следы одной из них автор во всех подробностях застал в детстве. Романтизма в следах было крайне мало:

Я вырос на руинах той войны,  
там, где за водкой и в кровавых драках  
вернувшиеся с фронта пацаны  
достреливали жизнь свою в бараках,

хватаясь за ножи и топоры,  
размазывая братьев по заборам.  
Я тоже мог по моде той поры  
заделаться убийцей или вором.

<sup>1</sup> «И ни о чём не надо беспокоиться...». — 45-я параллель, № 10 (178) от 1 апреля 2011 г.

<sup>2</sup> «В лесу, где не бытует эхо...». Поэтическое бытие Инны Лиснянской (Обрывки мыслей). — «Дружба народов», 2006, № 11.

*Нина Габриэлян*

## Конец геометрий

Читая новую книгу стихов Ефима Бершина, обнаруживаешь, что оказался в мире, в котором не так просто сориентироваться, поскольку он находится за пределами привычных представлений:

Море — форточка неба, которую выбил Бог.  
И свобода — уже не свобода, а пепел Завета.  
Я влачусь по пустыне уже за пределом свобод,  
за пределом любви, за пределом пространства и света.

Перепуганный ястреб растаял в пространстве пустом,  
в беспорядочном свете, как в стае взбесившейся моли.  
Что ни город вдали — обязательно город Содом.  
Что ни море у ног — обязательно Мёртвое море.

И куда ни пойду, и чего ни коснётся рука —  
всё уходит в песок, обращается всё в пепелище.  
Я влачусь по пустыне.  
Я — часть мирового песка  
из песочных часов,  
у которых оторвано днище.

Это мир зыблющихся, взаимопроницаемых форм, в котором «Все спутано. И контурные карты/ ...играют нами в дурака». Он неудобен ни для созерцания, ни для передвижения по нему: «Потому что уже наступает конец геометрий/ и из точки "я" все труднее добраться до точки "ты"». Привычная модель мира с ее устойчивыми представлениями о пространстве, времени, структуре, системе связей между явлениями и объектами здесь не работает. Это мир, то ли разрушающийся, то ли находящийся в процессе трансформации. В нем все сдвинуто с привычных мест, и вслед за автором мы наблюдаем «Исчезновение географий./ Кровосмешение улиц и планет». Верх и низ могут меняться местами, и, устремляясь вглубь, можно узреть высь («Море — форточка неба...») Пространство зыбится, выгибается, выворачивается наизнанку, изменяя и звуковую картину мира: «Наизнанку развёрнутый свет. Наизнанку развёрнутый звук». А порой и вовсе исчезает:

Пространства нет! Есть вечная дыра  
в окаменевшем облике пространства.  
Уйти из дома — как взойти на крест.  
И стать крестом, как злаку — коркой хлеба.  
Так свищет над планетой Эверест,  
смирненно принимая форму неба.  
Мы вмертвую держались за скобу  
родного дома. Но скрипит со стоном  
гнилая дверь. Не обмануть судьбу.  
Ты чувствуешь? Уносит! Вместе с домом.

Удержаться «за скобу родного дома», то есть за привычные представления, не удастся: странный, непонятный мир подступает вплотную к зоне психологического комфорта, пытается проникнуть в нее, подает сигналы, которые невозможно идентифицировать:

Вороватое небо крадётся в закрытую дверь,  
то вселенским дождём, то дверною цепочкой звеня.  
Бьётся голубь в стекло. Неопознанный раненый зверь  
причитает в ночи: «Это я, это я, это я».  
Кто-то воет в окне. То ли пьяная баба с метлой,  
то ли дождь затяжной, то ли свора бездомных дворняг.  
Догорает осина. И пахнет печною золой.  
И в дырявую дверь проникает внезапный сквозняк.

Трансформация пространства влияет и на восприятие времени, влечет за собой смешение времен и эпох, реального мира и вымышленного — вплоть до их взаимопроникновения: мифологическое время просачивается в историческое, прошлое проникает в настоящее, авторы и герои зарубежных книг разгуливают по московскому двору вместе с персонажами античных мифов:

И мы бежали вглубь двора,  
в котором бледный, как пергамент,  
с какой-то тенью до утра  
шептался сумасшедший Гамлет.  
Где в маске, как на Новый год,  
срывая голос песней хриплой,  
меж стен шатался Гесиод,  
как между Сциллой и Харибдой.  
Где с Геей обнимался Лир,  
как будто здесь уже навеки  
смешались разом этот мир  
и тот, что выдумали греки.

Мир в стихах Бершина не имеет четких очертаний, он предстает не как структура, но как процесс. Точнее, как некая совокупность разнонаправленных процессов. В этом мире нет жесткой отделенности объектов друг от друга. Здесь все пронизуемо: сочится, течет, вибрирует:

Что сказать тебе, друг, про бездомную жизнь сквозняка,  
бесконечную жизнь, что сочится, не зная границ,  
и внезапным ознобом доносит к тебе сквозь века  
вереницу событий и тени исчезнувших лиц?

По сути, это мир, не вмещающийся в ньютоно-картезианскую модель: здесь плохо работают линейные причинно-следственные связи, и потому становятся возможными парадоксальные сближения разноуровневых явлений, объектов, качеств: «Вселенная бездомна, как огонь,/ кочующий по воющим каминам,/ как осень,/ как отцепленный вагон,/ как запах облетевшего жасмина». Человек уподобляется знаковой системе и может прочитываться как некая всеобъемлющая формула: «фигура бесприютного бомжа —/ как сторбленная формула вселенной...» Становятся возможными превращения людей в часть городского ландшафта или в воздушный поток:

Давай с тобой уйдём через забор,  
через дыру.  
И станем переулком.  
И станем ветром.  
И закончим спор  
на перекрёстке суетном и гулком.

Если попытаться составить частотный словарь поэзии Бершина, то мы увидим, что в нем лидируют такие слова как «дождь», «ветер», «песок», «пустыня», «пустота», «небо», а также их аналоги и дериваты. Причем употребляются они не только и не

столько в прямом значении (для обозначения места действия, явления природы, качества предметов), сколько в значении переносном и, как правило, несут на себе символическую нагрузку.

Так ветер (вариант — сквозняк) зачастую предстает и как причина трансформации восприятия мира, и как символ этой трансформации, и как ее действующая сила. Именно ветер в стихах Бершина приводит все в движение, срывает покровы с предметов, совлекает ментальные оболочки, налагаемые на них обыденным сознанием. Понятное вновь становится непонятым, известное — неизвестным, обыденное — таинственным. Мир утрачивает свою цельность и определенность, «расколдовываются» энергии, дремавшие «под личиной вещества бесстрастной» (выражение Тютчева), пронизывая собой стихи сборника, придавая им высокий градус напряжения, как правило, трагического.

Но как сориентироваться в этом непонятном мире, где «крылья летают отдельно от птиц.../ И блуждают зрачки в отдалении от лиц,/ одинокие,/ как голова Олоферна»?

Можно сказать, это просто метафоры. Да, метафоры. Но метафоры чего? Дезинтеграции, распада привычных представлений. Но где и как искать смысл явлений, как и вокруг какого центра собрать распадающуюся картину мира, если «Ум неподвластен собственному уму»? И если непонятно, кто ты сам? «Я... всего лишь текст,/ недописанный до поры». «Сам живу, как чужой перевод/ с неопознанного подстрочника». Если ощущаешь себя не отдельной самостоятельной сущностью, но частью «мирового песка/ из песочных часов,/ у которых оторвано днище»?

Автор не отвечает. Он — не экскурсовод по этому миру, дающий подробные разъяснения увиденному. Он очевидец явлений, которые открываются за пределами обыденного зрения, и вместе с тем частица мирового процесса, пытающаяся этот процесс постичь и понять. Путник, откликнувшийся на «таинственный зов сквозняка», странник, гонимый разыгравшимися стихиями:

Не понимая, где восток, где — запад,  
сорвавшись, словно сука с поводка,  
бегу, ориентируясь на запах...

Возможно, был прав (отчасти) Андрей Вознесенский, который в свое время написал: «В ответы не втиснуты судьбы и слёзы./ В вопросе и истина./ Поэты — вопросы».

Однако было бы неверным считать, что автор этих стихов является лишь пассивным игралищем мировых стихий. Он упорно движется к некоей цели, взыскует смысла, вопрошает открывающуюся ему реальность, внешнюю и внутреннюю. При этом он обладает важными качествами: силой воли и мужеством. В частности, мужеством пройти своего рода инициацию через пустоту, то есть в данном случае через исчезновение смыслов.

«Пустота» — это, как уже упоминалось, еще одно слово, лидирующее в частотном словаре поэзии Бершина. Пустота может принимать разные обличья. Например, такое: «Пространственная форма пустоты — дыра в заборе или кукиш рамы».

Преодолев одну пустоту, можно оказаться в другой:

За пустотой поникшего куста  
сплошной пустыней обреченно стынет  
иная жизнь, иная пустота,  
иных пустот бесплодней и пустынной.

Но надо пройти и через нее и идти дальше — по внешнему миру и по ландшафтам собственной психики. До тех пор, пока не поймешь, что:

Пространство — фикция. Оно  
к себе притягивает страстно  
лишь тех, которым не дано  
перемещаться вне пространства.

Ищущему становится ясно, что путь к искомой цели может лежать и вне пространства, а то, что ищешь, чего взыскуешь, находится, на самом деле, в над-пространственной области:

Мы крались подмосковными лесами  
под небом, перевёрнутым вверх дном,  
уже порой не понимая сами,  
куда идём и для чего идём.  
И заблудились. И когда над бездной  
явился город, белый, словно снег,  
мы поняли, что город был небесным —  
не тем, что нам привиделся во сне.  
Горел рассвет. Как рог единорога,  
белела башня в мареве огней.  
И оставалось два шага до Бога.

(Когда мы шли с тобой в Ерушалаим...)

Как было сказано выше, пустота в поэзии Бершина — это не просто отсутствие физической материи или ее зримых признаков, но, в первую очередь, потеря привычных смыслов. А это влечет за собой и утрату целеполагания — «куда идём и для чего идём». Пустота оказывается областью безмыслия и бессмысленности. И именно в этом состоянии, в этом странном, мучительном отсутствии всяческих представлений, ищущему вдруг открывается Небесный Град. Новый, более высокий смысл появляется только после исчезновения старых смыслов. Ибо «никто не вливает молодого вина в мехи ветхие» (От Луки 5:37).

Бершин не богослов, не создатель философских трактатов. Он поэт, фиксирующий в стихах свой живой опыт, в том числе и опыт страдания, который он выражает средствами поэзии — метафорами, символами... Пустота в его стихах — это еще и символ муки. Однако он знает, что за пустотой брезжит то, что можно узреть только через страдание:

Лишь в сквозную дыру от пробитой гвоздём ладони  
можно вечность увидеть и прочий нездешний свет.

С метафорой пустоты в стихах поэта перекликается и образ пустыни:

Что же делать, мой друг? Да и стоит ли наших забот  
в опустевшем пространстве искать золотого кумира?  
Если выйдет пустыня — сюда переселится Бог  
и сыграет на скрипке своё сотворение мира.

Х.Э. Керлот в «Словаре символов» отмечает «специфический символизм пустыни как наиболее благоприятного места для божественного откровения».

И неслучайно в пушкинском «Пророке» шестикрылый серафим является герою именно там:

Духовной жаждою томим,  
В пустыне мрачной я влачился, —  
И шестикрылый серафим  
На перепутье мне явился.

Поэзия Бершина — явление многослойное и многоуровневое. Она может быть прочитана под разными углами зрения: кто-то увидит там реальные события жизни автора, кто-то — его психологический портрет, кто-то просто «подключится» к высокой, почти что зашкаливающей энергии его строк. И все будут правы. Мне же ближе всего понимание этих стихов как своего рода духовного странствия: из области крушения старых смыслов — через страдание и пустоту — туда, где брезжат новые горизонты.

*Дмитрий Стахов*

## «Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые...»

В советском мифологическом сознании, ныне активно возрождаемом и приобретающем гротескные черты, Великая Отечественная состояла из подвигов и самопожертвования на поле боя, из мудрых, рожденных в результате совещаний с героическими маршалами, решений великого генералиссимуса, из подвигов партизан и подпольщиков и завершилась алым знаменем над поверженным черно-белым Рейхстагом. (Что, как в театре абсурда, теперь привело к стикерам на автомобилях — «Можем повторить!».)

Авторы двенадцати дневников военного времени, составивших основу книги Павла Поляна «Если только буду жив...», — красноармейцы из действующей армии (особист и штрафник), коллаборант, оказавшийся в 1945 году в Лихтенштейне, трое военнопленных, четыре оstarбайтера и двое, пережившие оккупацию, в том числе — узница гетто.

Разумеется, выбранные для книги дневники (и их авторы) не охватывают все категории участников и жертв войны. Более того — имеется значительный, видимый крен в сторону как раз жертв. И это вполне объяснимо. Как подчеркивает Павел Полян, в рамках победного мифа «негласное правомочие на причастность к торжествам имеют не все, а только генералитет, герои и ветераны боевых действий». Миллионы же военнопленных (предатели) и десятки миллионов гражданского населения оккупированных врагом

территорий, как угнанного, так и не угнанного в Германию (пособники врага), считались неким побочным продуктом великой победоносной поступи. В новой России вряд ли «официальная линия» кардинально поменялась. Как и прежде, те, кто попал меж жерновов или имел смелость не погибнуть («Вызывает меня особый отдел: / — Почему ты вместе с танком не сгорел? А я им говорю: / Что в следующем бою обязательно сгорю!»), видятся людьми с сомнительным прошлым, доверять воспоминаниям которых не следует. Они якобы были озабочены в первую очередь не судьбой родины и не тем, как приблизить победу, а собственным выживанием. Или судьбами своих близких.

Книгу открывает раздел «Гуманитарные аспекты войны: участники и жертвы». В нем Павел Полян затрагивает такие важнейшие вопросы, как систематику участников войны и её жертв, дает анализ русскоязычных публикаций, посвященных советским военнопленным и оstarбайтерам, насильно угнанным для рабского труда в «тысячелетнем Рейхе». Ни тех, ни других, в соответствии с упомянутой выше «официальной линией», положено было не замечать, «делать вид, что их вовсе не было».

Автор-составитель пишет об «уродливо-своеобразном совпадении государства и граждан». Государству было удобно замолчать свои просчеты, из-за которых миллионы советских солдат оказались в плену, а гигантские территории были оккупированы и мирные граждане использовались в качестве рабочего материала. Бывшие военнопленные и

---

*Павел Полян. «Если только буду жив...»: 12 дневников военных лет. — СПб.: Нестор-История, 2021.*

остарбайтеры молчали потому, что они и так уже расплачивались «клеймом» изменников, фашистских наймитов и пособников. «В стране абсолютного бесправия, — пишет Павел Полян, — эти миллионы несчастных были еще более, нежели другие, ущемлены в правах и поставлены перед необходимостью избегать малейших упоминаний о вынужденном путешествии в Третий Рейх».

Поэтому несомненным достоинством книги является «встреча» под одной обложкой дневников особиста и военнопленного, красноармейца и коллаборанта. Такая «встреча», организатором которой стал Павел Полян, показывает глубокие сдвиги в восприятии Второй мировой войны и Великой Отечественной войны как ее части. Каждый из дневников сопровождается вводной, в которой дается биография автора дневника, контекст сопутствующих событий, библиографические сведения.

Первый дневник, интернированного в конце весны — начале лета 1945 года в Лихтенштейне пропагандиста-коллаборанта Георгия Томина, служившего в Первой русской национальной армии (РНА) под командованием Бориса Смысловского. События тех дней, кстати, нашли отражение в любопытном фильме «Ветер с востока» (1993 год) с Малькольмом Макдауэллом в роли Смысловского. Сам дневник Томина краток, дальнейшая судьба Томина неизвестна. Тех же, кто решил вернуться в СССР, Томин называет «добровольцы смерти»: «Советская комиссия еще здесь, но дела у них идут слабо: никто почти не хочет ехать на Родину, а если едут, то после долгих уговоров и часто почти силой. Нас не трогают, но безосновательно обвиняют в пропаганде среди молодых. Глупцы! Нужна ли наша пропаганда тем, кто недавно из СССР? Им лучше знать, чем нам, и если они не хотят возвращаться, они знают почему».

Дневник особиста Ивана Шабалина оказался «дважды трофейным». Найденный в планшете или в кармане убитого в бою особиста, он сначала попал в штаб германской группы армий «Центр», был переведен на немецкий язык, использовался в качестве пропагандистского материала, а потом был «отбит» советскими войсками и вновь переведен, с немецкого на русский.

Дневник Шабалина довольно беспристрастно фиксирует этапы общеармейского коллапса (контрнаступление армий группы «Центр» осенью 1941 года после попытки войск Брянского фронта остановить вермахт), описывает детали быта и дает представление о переживаниях автора, но почти ничего не сообщает о самой работе «особиста» — об арестах, допросах и расстрелах. Майора НКВД Шабалина (звание соответствует армейскому генерал-майору) в основном заботит отсутствие горячей пищи, непролазные дороги, невозможность помыться. Правда, Шабалин позволяет себе «критические высказывания»: «Армия не является такой, какой мы привыкли представлять ее себе на родине. Громадные недостатки. Атаки наших армий разочаровывают». Однако постепенно в дневнике прорастает истинная картина: «В 22.00 я поехал в лес и говорил с командующим армии — генерал-майором Петровым об обстановке. Он спросил меня: “Сколько людей расстреляли вы за это время?” Что это должно означать? Комендант принес литр водки. Ах, теперь пить и спать, может быть тогда будет легче. Перспективы войны далеко не розовы, так как противник вогнал мощный клин в наш фронт. Но у нас, как всегда, потеряли голову и не способны ни к каким активным действиям».

Любопытно, что Шабалин разделяет окружающих на две категории — чекистов и всех прочих: «Это ужасно, у меня кружится голова; трупы, ужас войны, мы непрерывно под обстрелом. Снова я голоден и не спал. Я достал фляжку спирта. <...> Армия разбита, обоз уничтожен. Я пишу в лесу у огня. Утром я потерял всех чекистов, остался один среди чужих людей. Армия распалась».

Здесь следует отметить, что Павел Полян стремится — и это логично — полнее представить авторов дневников и описываемые ими события через комментарии, примечания и ссылки. Но порой эти уточнения кажутся избыточными, воспринимаются как недоверие составителя книги ее читателям. Вряд ли среди них будет много случайных, тех, кому необходимо объяснять, что такое дивизион, или способных в соответствующем контексте спутать скрывающуюся за аббревиатурой СД службу безопасности со стрелковой дивизией. Примечания к буквально страшным,

сочащимся страданием страницам дневника военнопленного Сергея Воропаева (8 октября 1944 года он записывает: «Жизнь на крошках. Сегодня также из английского лагеря привозили суп, досталось по 3 ложки. Порой привозят больше...»), работавшего в плену в угольной шахте и умершего вскоре после освобождения, вообще приобретают какой-то inferнально-ироничный оттенок. Скажем, уже больной, находящийся в госпитале Воропаев упоминает прочитанные книги: «Чайльд-Гарольд», «Отцы и дети», «Герой нашего времени», «Евгений Онегин», «Квентин Дорвард»... Приведенный в ссылке список авторов этих хрестоматийных текстов выглядит почти как издёвка над читателем. Кроме того, начиная с дневников штрафника Александра Контарева, Павел Полян часто оценивает их с морально-этических позиций. Причем даже не лейтмотив дневников (у того же Контарева выраженный предельно ясно — «Выжить!»), а глубинные свойства самой личности автора. «Жлоб и хам» (Полян цитирует Алексея Симонова) Контарев — к слову, как штрафник ходивший в атаки на вражеские позиции и участвовавший в жесточайших рукопашных схватках, — предстал бы в совершенно ином виде, если бы на авансцену были выдвинуты его оценки того, что он наблюдает в Восточной Пруссии. Эти страницы читать непросто: «До сих пор не встречал ни одного живого человека, а сейчас непрерывно идут, по большей части старики и старухи, очень редко молодые девушки. Они, по-видимому, все уходят с армией. Ну, счастье им, а то солдат потешился бы на славу. Я, вообще-то, не представляю себе, как это так, а ведь недавно дивизионная разведка захватила одну девушку, и здесь же ее изнасиловали 23 человека. Сегодня в соседний с нашим дом зашли немки, так все туда кинулись, как шакалы. Зачем все это?..»

Однако всё это досадные для меня-читателя, но частности. Эмоциональный градус книги неуклонно возрастает от дневника к дневнику. Свидетельства о старбайгера и трудбатальоновца Бориса Андреева, пережившего оккупацию Николая Саенко и, в особенности, уцелевшей в гетто Тамары Лазерсон, обладают огромной силой, показывают индивидуальное, личностное в том пространстве, где вроде бы нет места личности, где индивидуальное уже не имеет никакого значения и смысла.

Так дневник Андреева предстает перед читателем как уникальное свидетельство принудительного труда и на благо Рейха, и для блага СССР. Вот на благо Рейха: «29.01.44. Стал очень бить меня немец в шахте. Сегодня за то, что я нечаянно разбил себе руку, он меня здорово побил». Вот на благо СССР, куда Андреев вернулся из Саарбрюкена пешком (!): «2.X.45. Распределили по работам. Меня послали работать по строительству. Оskabливаю бревна. Норма — 100 метров оскоблить бревен в день. Я смог оскоблить только 46 метров» (при росте метр семьдесят пять Андреев весил пятьдесят два килограмма). Между этими записями — освобождение: «16.IV.45. Ночью приходил пьяный американский солдат к нам в барак. Все разбежались. Я остался лежать на койке. Солдат пошарил по койкам, никого не нашел. Три раза выстрелил из пистолета, потом лег и уснул. Утром ушел в свою часть».

Николай Саенко, летописец оккупации Таганрога, временами так же бесстрастен, как бесстрастны (внешне, конечно) и другие авторы. Вот запись от 4 апреля 1942 года: «В городе все спокойно, по временам бывают выстрелы немецкой охранной артиллерии, с фронта тоже слышны отдельные выстрелы. В деревню, где Золотая коса, ночью зашли красные и пошли по квартирам, где стояли немцы, с одной квартиры в окно выскочил немецкий офицер, и его убили, а в дом стучались, а хозяева не отворили, то они им бросили в окно гранату, а сами скрылись, не потеряв ни одного человека».

В дневнике Саенко есть упоминания о расстрелах в Таганроге, которые проводила зондеркоманда 10-а айзатцгруппы D под командованием оберштурмбаннфюрера СС Кристмана с активным участием местной полиции. В записи от 29 октября 1941 года Саенко фиксирует, что «всем евреям приказано собраться на Красную площадь для выселения, но неизвестно куда. Велено взять харчей и сколько можно на себе унести багажа», а уже на следующий день пишет, что «за городом за аэродромом 31 завода расстреляны евреи, все собранные в городе старики и дети».

Саенко не упускает случая покритиковать молодежь, особенно тех, кто использует любую возможность избежать отправки в Германию, а также тех, кто позволяет критиковать бывшие советские порядки. Кроме того, он выступает

как суровый моралист, осуждая поведение молодых женщин, пытающихся увильнуть от отправки в Рейх — 13 мая 1942 года он пишет: «...нужно пойти с офицером, куда он поведет, на ночь, и тогда получает на руки бумажку и остается на месте в Таганроге». Сам же Саенко, бесстрастно фиксируя происходящее, по сути озабочен только одним — выжить, причем желательно с комфортом и не испытывая голода.

Дневник Тамары Лазерсон вообще-то, как мне кажется, было бы лучше изъять из корпуса книги, соединить с подобными ему трагическими свидетельствами (например, Марии Рольникайте). Павел Полян дает подробную преамбулу к дневнику, описывая историю семьи Тамары и то, что произошло с Каунасским гетто и его обитателями. Собственно, что произошло, становится ясно из двух цифр: 35 тысяч евреев было в Каунасе до войны, после освобождения города Красной армией 1 августа 1944 года их осталось 634. Среди погибших были и трое из семьи Лазерсонов — родители и старший сын, двое — младший сын и Тамара — уцелели. Несмотря на то, что отец говорил младшему сыну, Виктору: «Пиши дневник. Мы живем в интересное историческое время», — автором фактической летописи Каунасского гетто стала Тамара.

Павел Полян совершенно прав, когда пишет об удивительных параллелях между дневником Тамары Лазерсон и дневником Анны Франк, но признает, что это две чрезвычайно разные судьбы и два совершенно разных документа.

Тамара пытается писать о «приятном»: «Положение улучшается. На рынке гетто дешевают продукты, так как много их поступает через забор. Жить становится легче. Между прочим, рассказывают, что наши мучители NSKK 4-й батальон погибли на фронте. На здоровье им!» Но общий трагизм нарастает: «Тревожные дни. Опять оханье, плач. Опять разделяют семьи, отделяют мужчин от женщин. Прямо страшно, что здесь творится. Мы живем недалеко от кутузки, откуда раздаются душераздирающие крики младенцев» (запись от 17 октября 1942 года).

Тамару спасло прекрасное знание литовского языка, «фактически родного». Она стала Элянтой Савицкайте и попала в 1944 году в бригаду литовских рабочих: «Отец проводил меня до самой бригады, в которую я должна

была внедриться. С бригадиром, очевидно, было все оговорено заранее. Никто ни о чем не спрашивал. Я попрощалась с отцом, и он двинулся в обратный путь. Перед моим взором на всю жизнь осталась сутулая фигура отца, согнувшаяся под непосильной ношей. Так, в сущности, и было. Он отпустил свою малолетнюю дочь одну в этот коварный и злой мир. И, наверное, терзался сомнением — правильно ли поступил. Старшего сына папа не хотел отпускать, и брат погиб в пятнадцатилетнем возрасте. Может быть, эта трагедия подвигла отца отпустить меня?..»

...Один выдающийся историк очень давно рассуждал об истине и правде истории. Истина, по его мнению, всегда одна, но сводится по преимуществу к фактам, датам и тому подобному. Вот правда уже может дробиться на «составляющие части», вплоть до того, что может называться правдой персональной, индивидуальной. Эта правда может выглядеть — даже при условии «оправдания» ее носителя — ужасно или сомнительно с морализаторской позиции. Но подлинный, человеческий, часто пугающий лик истории складывается из этих «правд».

Дневники из книги Павла Поляна призваны показать заинтересованному читателю индивидуальную правду истории в ее, так сказать, неприглядной наготе. В них показаны физические и моральные страдания авторов дневников, голод и холод, унижения со стороны врагов, нередко и от своих, попытки — часто неуспешные — приспособиться к реальности и выжить. Сам Полян считает, что дневники, «составляющие ядро книги, являют собой общее и единое поле битвы между установкой государственно-патриотической, бесчеловечной (“Умри же за родину, герой!”) и индивидуалистической (“Ни в коем случае не умереть — выжить!”)».

Из авторов двенадцати отобранных для книги дневников выжили десять. Представляется, что Павел Полян выдержал такое соотношение, исходя из собственных благородных установок. В трагическом столкновении индивидуального и коллективного, в «опорной дихотомии “Я vs МЫ”» он на стороне «Я», на стороне индивидуального. В наше время, когда окончательная победа коллективного не за горами, его позиция ничего, кроме как уважения, не заслуживает.

*Николай Александров*

## Интересная Фаина и нарративные практики

Я бы сказал так: современный хаос, спутанность времен, языков, стилистик, осколков идей и мнений, раздробленное существование всего во всем, относительность и неустойчивость любого мнения, взгляда, голоса — с трудом разрешается в художественном слове. Даже если стараться этот хаос просто «зафиксировать», уловить, представить, все равно нужно придумать, как и, главное, чем это сделать. Нужен инструмент. Конечно, их в богатой литературной традиции множество. В распоряжении писателя — любые стили, жанры, каноны, способы письма. Множество образцов на любой вкус: от железобетонного реализма до легких постмодернистских конструкций. Но вот в чем проблема. Выбранная интонация, нарративная практика (не говоря уже о жанре) делают писателя — вне зависимости от того, к какой теме он обращается, — заложником, диктуют ему способ видения, метод преобразования мира. То есть она (наррация) уже сама по себе становится проблемой, несет в себе ущербность, недостаточность. Так ординарный регулярный размер в современной поэзии мгновенно переносит поэта в круг уже сказанного, написанного, выученного наизусть, то есть банального, в конечном счете, а потому вроде бы требующего разрушения. Однако и этот отказ от классического канона, который манифестируют синтаксическая и ритмическая раскованность и свобода, намеренная «прикровенность» или «темнота» высказывания, случайность и необязательность образов, маски цитат и аллюзий, замкнутость, герметизм текста, — в свою очередь, становится расхожим средством, устоявшейся методикой,

привычной парадигмой, новой банальностью. Лирика лишь ярче и рельефнее отражает общую проблему художественного письма. Ведь и в прозе то же самое, и показательно, что наиболее любопытные прозаические опыты — у поэтов (Алла Горбунова, Мария Степанова и др.). Ну или у авторов, не чуждых поэтического, с поэтическим темпераментом.

Но доминирует все-таки сугубый реализм. Канон реалистического описания в прозе не то чтобы устарел или исчерпал себя — в нем чувствуется недостаточность, неполнота. Он выглядит архаичным инструментом — как каменный топор, которым забивают гвоздь в современном интерьере, — он мгновенно переносит нас в ушедшую эпоху понятного и устоявшегося, ставит в череду повторений. Иными словами, нужно придумать, как этим топором пользоваться. Например, поместить его в музей (роман Александра Соболева «Грифоны охраняют лиру»), украсить яростной экспрессией (тексты Натальи Мещаниновой, Аллы Горбуновой). Вот эти сдвиги и неожиданности в способе применения письма (будь то классическое или деструктивное), пожалуй, и интересны более всего. В каком-то смысле, современный автор обречен строить свой мир из спойлий, осознает он это (как Мария Степанова, скажем) или нет.

Роман Аллы Хемлин «Интересная Фаина» — второе произведение писательницы. Первое — роман «Заморок» — вышло в издательстве Сogrus (лонг-лист «Большой книги»-2019). У «Интересной Фаины» пока нет бумажного издания. Она существует только в электронном виде.

Чем интересна эта «Интересная Фаина» Аллы Хемлин?

Как раз избранным способом применения письма. Генетическая связь ее текстов с произведениями Маргариты Хемлин —

---

*Алла Хемлин.* Интересная Фаина: Роман. — М.: 2020, 242 стр.

особая тема, вполне оправданная, но более широкая. Хотя, конечно же, свободное погружение в разные дискурсы и языки, колорит украинско-русской речи, умение выстраивать динамичный увлекательный сюжет (как в «Дознавателе» Маргариты Хемлин) указывают на кровное физическое и художественное родство и как будто оправдывают давние подозрения, что сестры раньше писали тексты вдвоем. Но вернемся к «Интересной Фаине» (кстати, показательно, что роман посвящен сестре). Дело здесь не только в полудетективном или приключенческом сюжете: из дома терпимости в Батуме мать Фаины отправляется в Одессу на встречу с богатым женихом; пароход тонет, мать Фаины погибает, жених берет Фаину к себе в дом, она оказывается наследницей солидного состояния и объектом корыстных поползновений разных мошенников. И не только в выборе героини — слабоумная (?), аутичная (?), социопатка (?)... — от лица которой, точнее, из сознания которой ведется повествование. Такое тоже уже бывало, и если говорить о последних примерах, можно назвать новеллу Ольги Медведковой в ее книге «Три персонажа в поисках любви и бессмертия», рассказывающую о ментально ушербной средневековой принцессе, попадающей в другую страну, где царит Возрождение. Уже в этой выбранной и известной практике есть неожиданность. Фаина рассказывает о своем детстве и отрочестве (дореволюционные Батум, Одесса, Киев) из другого, уже советского времени, и языком этого времени — разумеется, насколько и как этот язык (расхожие казенные формулы и штампы, примитивная речь советского обывателя) был усвоен ее сознанием. И вот это и есть ключевая составляющая «Интересной Фаины», главный инструмент строительства художественного мира и одновременно, если угодно, «многофункциональный» ключ, открывающий этот мир.

Роман начинается (ну, практически открывается) описанием кораблекрушения: «Еще раньше капитан на пароходе приказал всем рубить топорами все на свете плавучее вроде дверей? и кидать в воду. Все начали рубить от души и нарубили кто сколько мог. Потому мать Фаины упала не в пустую воду, а головой? попала в нарубленную дверь и

крепко ударилась. Тут как раз пришла большая волна. Большая волна сдвинула ударенную мать в сторонку и накрыла всю с ударенной? головой?. Фаина своими глазами видела, что волна накрыла мать. У волны была белая бахрома и цвет такой? же, как у шали, которой? мать накрывала Фаину дома. Ночью у Фаины было одеяло, а днем была дорогая шаль с коричневым пятном на самом краю. Мать хотела нагладить после стирки, а силу горячего утюга не посчитала. Мать накрывала шалью дочечку от плохого. Мать говорила, что по шелку все на свете плохое скатится. Почему мать не накрывала свою дочечку шелком ночью, хоть бы и сверх одеяла, непонятно. И вот мать пошла себе на дно. Фаина быстренько тоже засобиралась на дно, чтоб успеть все-таки схватиться за материну руку. Но как-то так получилось, что вместо дна Фаина осталась на воде. Фаина не умела плавать и просто била воду с пяти сторон — двумя руками, двумя ногами и одной? головой? тоже. Фаина не запомнила вокруг себя людей? — ни на воде, ни на лодках, ни на кто на чем. А запомнила, как ее рука ударила не по воде, а по дереву, которое получилось дверями с ручкой?. Какая-то сила взяла и дотянула руку Фаины до этой? ручки, как до руки матери».

Значимый эпизод. Ведь это и смерть, и рождение одновременно. Смерть, потому что детское, бессознательное, внутриутробное существование ушло, завершилось. Вместо руки матери — ручка двери в другой мир и в другую, уже автономную жизнь. Но само начало этой автономности, возникновение самосознания — поражено (или порождено) травмой. В этом переходе от небытия (или недобытия) к индивидуальному, внешнему существованию нет света и ясности. Мир заслонен толщей воды. Сквозь эту воду, через эту травму, через это пережитое потопление и говорит с нами героиня. Говорит своим «утробным», дефектным, неправильным языком.

Здесь важны не только бросающиеся в глаза лексические и синтаксические особенности речи, ее особая выразительность или невыразительность (или потуги выразить что-то, преодолевая бедность имеющихся средств). Это метафора (она затем будет неоднократно возникать в романе) рождения мира и сознания

героини — то есть стремления воплотить то, что было, вернуть в слове утонувшее время с его обломками реалий, голосами, бликами, отсветами, красками. Представить канувшее минувшее языком, который сам по себе ущербен и недостаточен, но который несет в себе эхо разноречия: русская, украинская речь, суржик, даже французский язык, которому училась Фаина. К этому стоит добавить ее «живописную» одаренность, ее страсть к книгам, породившую склонность к сочинительству. Последнее более чем существенно. Фаина — другая, советская, удаленная в будущее, — не столько вспоминает, сколько придумывает свою судьбу, воображает ее на основе прочитанных книг, усвоенных цитат, услышанных рассказов.

Что было пережито ею, а что сочинено, — сказать трудно. Так, в одном из эпизодов Фаина выслушивает рассказы о себе (о ней, то есть) некоего авантюриста (одного из тех, кто хочет прибрать к рукам ее богатое наследство). Этот эпизод почти весь строится на пересказах известных текстов. В частности, мелькает даже стихотворение Блока «На железной дороге» («Под насыпью, во рву...»). Любопытно здесь не только вроде бы не вполне оправданное использование блоковского произведения. Любопытно то, что и с самой Фаиной случится «смерть» у железной дороги, как в стихах Блока, и сюжетно роман должен был бы закончиться именно так. Но ведь рассказ ведется из будущего, и героиня должна остаться жива. Поэтому читателя и ожидает чудесное (фантастическое уж точно) воскресение Фаины.

Показательно также, что ущербность сознания героини лишь подчеркивает ущербность памяти, которая склонна вытеснять

и забывать пережитое и усвоенное (у Фаины это забвение — «расчистка места в голове» — превращается в специальную медитацию). Или заменять реально бывшее выдуманным и прочитанным.

Это мир не до конца проясненный, незавершенный (сюжет обрывается смертью и неожиданным воскресением героини). Он сам по себе обломок чего-то большего. Он и не может стать по-настоящему цельным, поскольку неполноценность — душевная, ментальная, языковая — его определяющее свойство. Здесь нет строгой номинативности, просто потому что для многих вещей и явлений нет имен и названий, или они растворены в эвфемизмах, обобщенных описательных оборотах. Мир заражен речевой невнятистью. Он строится пожилым человеком, который остается ребенком. В нем амнезия соперничает со слабоумием (или умственной и душевной скудостью). Он лишь отражение отражений. Он не преодолевает хаоса, но, скорее, манифестирует его. Он непредсказуем и случаен, как неожиданные повороты в повествовании романа. И эта случайность — важный знак.

Случайность, если хотите, тренд дня сегодняшнего. Случайность (не просто как явление, но как свойство мира), выражающая себя в том, что, кажется, нет ничего обязательного, безусловного, необходимого. Любое движение, действие, намерение, мысль, эмоция могут обернуться чем угодно и привести к результатам прямо противоположным. Более того, уже в себе это противоположное содержать. Всякая опора неустойчива, всякая основа зыбка. И есть лишь интуитивно осознаваемый, не определяемый точно образ прочного существования, неколебимого бытия.

Сергей Шабалин

## Время тревоги нашей

«Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, если даже спасся от снарядов», — гласит эпиграф к знаменитому роману Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен». Еще совсем недавно вряд ли можно было предположить, что роман участника Первой Мировой войны, изданный в неизмеримо далеком 1929 году, вновь окажется востребованным в литературном дискурсе современности. Однако название новой книги стихов Геннадия Кацова «На Западном фронте», посвященной потрясшим Америку и мир событиям 2020 года, — более чем очевидная отсылка к книге Ремарка:

на площадь не сунься, не выйди в подъезд —  
в театре военных, объявленных действий  
посадочных хватит на каждого мест,  
включая детей, чтоб испортить им детство

Понятно, что речь идет о смертоносной вспышке коронавируса, равно как и о расовых беспорядках невиданного прежде масштаба, захлестнувших Америку в прошлом году. Одно потрясение самым чудовищным образом наложилось на другое и, возведенное в квадрат, заставило планету вздрогнуть. Уже подоспела годовщина рокового весенне-летнего времени, но эпидемия продолжается, и вопросов по-прежнему больше, чем ответов. 2020 год — что это было? Давняя, затянувшаяся и перешедшая в метастазы болезнь общества? Восстание масс, прелюдия к войне?..

Судя по названию книги, ее оформлению (в качестве виньетки на страницах сборника изображено ружье), а самое главное —

---

Геннадий Кацов. На Западном фронте: Стихи о войне 2020 года. — М.: Формаслов, 2021.

по содержанию книги, автор убежден в том, что мы — свидетели новой, сверхсовременной и странно-гибридной войны. Войны, в которой контуры врага порой плохо различимы, а театр боевых действий непредсказуемо подвижен.

Книга разделена на три части. Первая из них называется «Ковидии. Стихи карантинного времени». Здесь доминирует минорно-сосредоточенная интонация, реминисценции реалий совсем недавнего, но, возможно, безнадежно утраченного, по ощущениям автора, прошлого:

вечером выйдешь к океану сопереживать закат  
без перчаток и маски, что в последнее время  
подарок,  
и попадаешь невольно в недавнее прошлое  
за так,  
в докарантинную, словно декоративную,  
эпоху задаром

Навеянные новой реальностью мысли, картины и образы, как правило, мрачны, но предельно точны и правдивы. Предпринятые властью антиковидные меры (разумны они или нет) превратили жизнь в тотальный полицейский кошмар, папахивающий диктатурой, где даже обычная прогулка в парке выводит на неизбежную тропу угрюмых раздумий, пронизанных ощущением опасности, а безобидные тополя и клены предстают в облике суровых стражей нового порядка:

иное имеет значение «ствол» —  
в него от корней поступают патроны,  
и тополь (сержант) прошлогодней листвой  
стреляет с двух веток раскрывшейся кроны

Да, невесело время, герой которого ностальгически вспоминает о таких банальных и некогда общедоступных вещах, как, скажем, посещение питейных мест по вечерам:

«ещё ты помнишь январь-то?/ пар изо рта, бычки в снегу,/ под пневматические ритмы/ из тёмных баров — трубный гул». Неестественна жизнь, в которой простые удовольствия постепенно становятся чем-то вроде реликта. Но даже убогость подобного существования меркнет в сравнении с «первыми выстрелами» гражданской войны. Если соотнести вышеупомянутые события на шкале экзистенциального ужаса, то «Ковидии», безусловно, меркнут в сравнении с «Актуалиями. Хрониками военного времени» — вторым разделом книги Геннадия Кацова.

Представленные в книге стихи сотканы из аллюзий, центонов и, если так можно выразиться, настоянных на центонах строчках. (Например: «достать “шанель”, пойти домой...», «я с детства не любил напалм...» — Окуджаву и Павла Коган, соответственно. Характерный для автора прием, который можно определить нехитрой формулой «центон + авторская импровизация».) Метафоры Кацова, как правило, искусны и неожиданны. Однако иные его строфы впечатляют именно отсутствием желания впечатлить — почти тривиальной, но на деле — разяще-откровенной точностью. Так бывает, когда речь идет об общественных недугах, известных всем и замалчиваемых всеми. Замалчиваемых до тех пор, пока не находится человек, который больше не намерен не замечать очевидного: «повсюду призрак психбольницы/ диагноз признан, но лечиться/ нет времени, пространства, сил...»

С некоторых пор герой книги живет в атмосфере гнетущего страха: «так и умрешь, семью не защитив,/ без пистолета и к нему патронов...», в режиме предошущения новых трагедий и отнюдь не беспочвенных кошмарных видений: «толпа всё заполняла твой квартал,/ затем этаж, сейчас уже квартиру,/ и ты врубился: коль твой час настал —/ не нужен ты ни городу, ни миру».

В этой новой американской трагедии слезы чередуются со смехом, а ужас соседствует с абсурдом, и все становится возможным, особенно на экране телевизора. Даже столь фантастический сюжет, как поединок по джиу-джитсу между Дэйвидом Боуи и... Сергеем Есениным:

я не из тех, кто по вечерам выбирает боулинг,  
я выбираю тебя — моего джина в джинсах:  
давай закажем поединок есенина с боуи  
на канале эйч-би-чмо, средний вес  
в джиу-джитсу

Телевидение, манипулирующее массовым сознанием в политических целях, — отнюдь не новость, но прошлыми весной и летом стало очевидным, что через ТВ, помноженное на сетевые ресурсы, можно протолкнуть все что угодно. Любая ахинея в привлекательной обертке, любая ложь и подтасовка фактов спокойно проглатываются под «чипсы и Будвайзер».

Впрочем, несмотря на то, что «досок с гвоздями и бейсбольных бит/ сполна припасено для разговора», автор (или его герой, в этой книге они почти неотделимы) не повержен и эффектно превращает кошмар в самоиронию: «к беде колокола в ушах звенят!/ как тут не закурить, хотя и бросил:/я долго думал, что реальный ад —/ смешать текилу и мартини-росси». Но у реального ада несколько иная рецептура. Его отблески видятся, скажем, в том, с каким упоением и азартом молодые американские радикалы уничтожают памятники, ставшие для них, по сути, исторической абстракцией. В подавляющем большинстве случаев разрушители и вандалы ничего (или почти ничего) не знают о персонажах, увековеченных в камне, однако весной-летом 2020-го они (бунтовщики) — ни много, ни мало — вершители судеб мира. Все это напоминает поэту отечественную историю, снос монументов на пепелище Октябрьской революции и российские реалии начала 1990-х годов. Ведь мы наблюдаем не просто снос памятников, а смену эпох:

бредёшь по руинам разрушенных скверов,  
что повод не есть для сердечных ударов,  
ведь столько активных здесь, как пионеров-  
тимуровцев в лучших рассказах гайдара

Подобные картинки чередуются с нарезкой новостных кадров массового разграбления магазинов и торговых центров от Нью-Йорка до Монреаля, впечатляющими лозунгами антифа и BLM или, скажем, продолжавшимися захватами радикалами почти месяц центра Сизла и четыре — Портленда, и общая картина

гражданского противостояния (чтобы не сказать — войны) становится законченной. Здесь не важно, по какую сторону баррикад находится очевидец, ведь пуля (бейсбольная бита), как известно, не выбирает: «а ночами вообще зер гут:/ жжём машины, магазины грабим,/ можно бабу трахнуть на бегу —/здесь нет копов, значит, нет и правил».

Познакомившись с натурными зарисовками кацовского ада, читатель ожидает апогея ужасов в третьей части книги — ожидаемым финалом «Ковидий» и «Актуалий» могла бы стать глава под названием «Апокалиптии». Но фокус внимания автора резко смещается. «Персоналии. От первого лица» — называется эта часть. «Уйдя в себя на фоне адовом» и «снямая пустоту покадрово», на первый план выходит сам автор книги — его мысли о собственной жизни и его раздумья о вечном, о бездонной вселенской пустоте, об уходящем — в полете снежинок и шелесте листьев — времени:

их в тёмном контуре наклон  
осеннюю скрывает тайну,  
и бледный лист — снежинки клон —  
теней касаясь, тут же тает

Ничем не успокаивая своего собеседника-читателя, по факту автор все же дарит ему надежду: да, мы живем в тяжелое, даже страшное время, но поблагодарим судьбу, Бога или молекулярное стечение обстоятельств за то, что мы вообще здесь — за утреннюю чашку кофе и свежую газету, наконец:

поскольку, судя по газете, я  
попал в сей час в 2020-й  
о чём мечтать лет пятьдесят назад  
в том тыща девятьсот семидесятом  
не мог у автоматов с газводой  
в автобусах икарусного типа

Разве это не сногшибательно само по себе — из эпохи «Икарусов» и автоматов с газводой переместиться в «пейзаж эппллов или нокий, как будто писанный в кватроченто»?! Ведь у нас есть два пути: или, подобно кацовскому капитану, забившему на жизнь, умереть раньше смерти:

и набьёт крепко в трубку  
капитан табачок  
смерть бывает без трупа  
будто жизнь ни при чем...

или, несмотря на поистине трагические, однако не фатальные реалии 2020 года, уверовать в то, что жизнь все-таки, простите за банальность, — чудо, равно как и в то, что искусство, в частности поэзия, — чудо, а чудо должно победить, не так ли?

гул машины для мойки посуды —  
мой любимый трехстопный анапест:  
хочешь — верь, что поэзия чудо,  
хочешь — нет, и пошли её на фиг

Что ж, жизнь заявит о себе сама, а в чудо, в творчество и в чудотворство нас заставляет поверить поэзия Геннадия Кацова. В частности, его новая, десятая по счету книга.

Ольга Гертман

## Не путайте мурмурацию с мурмуригом

Нет, ну в самом деле. У этих слов — которые в заголовке для привлечения, как водится, внимания, — даже корни (почти) разные: у первого — латинский, у второго... в конечном счете тоже, конечно, латинский, но в первом приближении — английский, и это приводит к тому, что у двух слов, убедительно притворяющихся близнецами, — совсем, совсем разные значения. Сросшиеся своими латинскими корнями, эти вполне сиамские близнецы смотрят в совершенно разные стороны.

Собственно, *мурмурация* с *мурмуригом* бросились нам в глаза и напросились стать началом разговора о книге в целом только потому, что это — единственный на весь словарь яркий случай квазиблизнечества. Остальные яркие случаи из жизни слов (а они тут все яркие) — о другом и устроены иначе. Главное же — есть нечто, решающим образом объединяющее всю собранную сюда разноязыкую и даже разнографичную лексику: все эти слова возникли и начали потихоньку овладевать массовым сознанием в одно время — в первые два десятилетия XXI века и могут быть — по мысли авторов — прочитаны как симптомы культурного, интеллектуального, эмоционального состояния этого времени.

Значения уже упомянутых слов мы, конечно, из особенной вредности тут раскрывать не станем: зачем пересказывать читателю то, что он и сам узнает на страницах

книги?.. если, конечно, ему удастся ее раздобыть: место издания у этого целиком русскоязычного словаря, признаться, экзотическое. Хапур — это в индийском штате Уттар Прадеш (кстати, даже не столица его). Не допытывайся, читатель, почему, — сами не знаем. Однако точно знаем то, что духу предприятия, лежащего в основе словаря, это совершенно соответствует. Он, вообще-то, по замыслу — всемирный и повсеместный.

Приближение, обещанное подзаголовком книги, — действительно, самое первое. (Автор предисловия, он же составитель книги, Игорь Сид говорит, что это — только «дайджест-анонс», и вскоре нас ждет выход полного первого тома словаря, объем которого превысит нынешний примерно в два раза). Понятно, что неполными двумя сотнями страниц не охватить ни всех неологизмов, заведшихся во всех языках мира в XXI веке, ни даже, наверное, всех тенденций слово- и смыслообразования в языках этого времени. А ведь задачу себе участники этого грандиозного, не лишённого авантюристических обертонов, интеллектуального предприятия поставили именно такую: отследить новейшие слова — или новейшее употребление старых — во всех, всех возможных языках, какие только существуют. Тематический охват — максимальный, от (первым делом идущих на ум) технических новшеств вроде «умного дома», «умной одежды» и «умной пыли» и (идущих на ум на втором шаге) обозначений новейших политических реалий вроде филиппинского *трапо* (словцо новое, да явление старо: корыстный политик, игнорирующий интересы избирателей) до экспрессивного неологизма с оттенком просторечия в современном египетском диалекте арабского языка

---

Словарь культуры XXI века. Первое приближение / Составление, предисловие — Игорь Сид. Научный редактор Вадим Руднев. Члены редколлегии Анна Бражкина (Россия), Сарали Гинцбург (Испания), Игорь Сатановский (США). — Хапур: Kie Publication, 2020. — 196 с.

«уэр-уэр» (одобрительное междометие и прилагательное, означающее высокое качество, свежесть и чистоту) и — ну, скажем, словечка, обозначающего явление, которое существует, думаю, вообще примерно с сотворения мира (умильно посмотреть в нужный момент и выпросить желаемое), но заведшегося в речи словенцев — или, по крайней мере, замеченного в ней словарями — только в текущем столетии (это слово *?panjelizirati* — спаниелить).

Нет, систематическое описание тут по определению потерпело бы поражение.

И вот поэтому авторы (а с ними и составители, и авторы идеи всего словаря в целом) отказались от занудного в своей правильности академизма с самого начала и, надо думать, навсегда (словарь ведь намерен продолжаться и расти). Нет, за корректность сказанного они отвечают: в состав рабочей группы словаря входит научный редактор, который за нею следит. А это, между прочим, не кто иной, как философ Вадим Руднев — именно его, вышедший в конце прошлого столетия, «Словарь культуры XX века» — единоличный, авторский! — стал первообразом словаря культуры века XXI-го и стимулом к его возникновению; зерном, из которого выросла идея, — мы теперь застаем ее еще только в самом начале ветвления. Кстати, Рудневу же принадлежит и одна из словарных статей — о «странных объектах». Второй отец-основатель проекта — Михаил Эпштейн (он тут тоже один из авторов, анализирующий «начекизм» — им же самим предлагаемый возможный перевод новейшего американского *woke*) с его идеей *проективного словаря*, словаря будущей и возможной лексики, он же, по-английски, *predictionary (dictionary+prediction)*.

В отличие, правда, от Эпштейна, авторы словаря пишут о настоящем и его уже возникших словах — но ищут в нем ростки будущего.

Прекрасно помня о неминуемой условности и неполноте любого описания процессов настолько громадных масштабов, авторы избрали своей стилистической и интонационной стратегией эссеизм, близкий иной раз к публицистичности, роднящей статьи словаря со статьями ну если и не в газетах, то уж, во всяком случае, в толстых журналах. Особенно это заметно там, где речь заходит о словах, обозначающих что-то возникшее

совсем недавно, — вроде описываемой в словаре по совсем уж горячим, еще и не думающим застывать следам пандемии коронавируса. Выразительный пример — умная, основательная статья Евгения Бунимовича о «хоумскулинге», домашнем обучении, — строго говоря, о «способе получения образования, предполагающем изучение общеобразовательных предметов вне школы», — который за последний год сами-знаете-чего насытился новыми небывалыми значениями, включая эмоциональные. Стремительно, тремя абзацами очертив историю понятия, автор (педагог, знающий ситуацию изнутри) описывает новейшее состояние и термина, и обозначаемого им явления таким трогательным образом: «Массовый авральный переход миллионов школьников на обучение на дому привел к огромному числу проблем для родителей и детей — образовательных, психологических, социальных, технических. В русском языке это отразилось и в особенностях нынешнего широкого использования термина хоумскулинг. Дело в том, что в России есть глагол “скулить” [skulit’] — т.е. жалобно повизгивать, тихо выть, его чаще используют в разговоре о собаках, поэтому “скулинг” как часть термина “хоумскулинг” можно иронически трактовать как псевдоанглийское отглагольное существительное, означающее “тихое жалобное выть”. В результате термин “хоумскулинг” в русском языке обрел не только общепотребительный для всех языков смысл семейной формы обучения ребенка, но и дополнительный жалобно-иронический смысл, означающий “*достал этот ваш перевод всех детей на домашнее обучение, нет больше сил, хочется выть.*”»

(Сразу, кстати, видно, что, будучи русскоязычным в своем нынешнем облике, словарь постоянно имеет в виду свои — будущие? — переводы, свою изначальную адресованность и иноязычным аудиториям — поскольку объясняет вещи, носителю русского языка очевидные.)

Да, все это органичнее смотрелось бы на страницах толстого журнала, чем словаря в его сколько-нибудь традиционном понимании. Однако упомянутая публицистичность — ни в коем случае не недостаток ни процитированного текста в частности, ни книги

вообще, она, скорее, — их жанровая особенность: самым адекватным для себя эти тексты чувствуют расположиться между жанрами, избирательно используя возможности каждой из них. (И, кстати, обратим внимание на то, что в цитированном тексте характерным для словаря образом упоминаются свойственные представляемой автором культуре приметы бытования слова.) В случае книги в целом, кажется, уместнее всего говорить о «мерцающей» стилистической позиции и жанровой принадлежности, от статьи к статье смещающейся в сторону то культурологического анализизма (как, например, в «Аватаре» Татьяны Бонч-Осмоловской или в «Поляризованной биосфере» Владимира Каганского — пожалуй, одного из самых научных текстов книги, с которым соперничает в этом отношении разве что лишь основательнейший «Трансгуманизм» Данилы Давыдова), то, наоборот, к эссеистичности вроде той, с которой Илья Фальковский рассказывает о труднопереводимом с китайского выражении «чжаньдоу миньцзу» (обозначающего, между прочим, национальные особенности русских — в представлении, конечно, китайцев. А вот опять не скажу, что это значит. Ищите книжку!). Таким гибким, пластичным стилистическим и интонационным инструментом лучше всего схватывается то, что, пребывая в становлении, только обретает свое место в культуре, между чем и нами, этот предмет наблюдающими, еще не образовалась дистанция, способствующая объективности, бесстрастности, а с ними и чистой теоретичности.

Другая особенность представленного в книге коллективного взгляда — то, что в поле его зрения то и дело попадает лексика, совсем уж экзотичная для обитателей тех областей мира, которые привыкли почитать себя центральными и нормообразующими (ну, вы поняли: стран евро-американского культурного круга), и вряд ли, честно сказать, известная за пределами породившего ее локуса. Да, кругозор это расширяет чрезвычайно — можно даже сказать, делает читателя-европейца более гибким и разнообразным внутренне, поскольку представляет ему совсем не очевидные для

того модели мышления и действия. Выразительный пример — «Сиракоро», «Под баобабом» на африканских языках бамана и малинке: статья об этом слове на самом деле имеет более широкую тему — обычай называть города, деревни, автобусные остановки «древесными» топонимами в благодарную память о деревьях, которых уже нет. Практика, характерная для Африки (особенно — Западной) и вряд ли существующая в иных краях (а также — стоит задаться вопросом — действительно ли появившаяся именно в XXI веке, которому посвящен словарь? на это в статье не указывает ничто).

Но да: при всем неминуемом разбросе внимания и эссеистичности основного количества вошедших сюда словарных статей, при всей экзотичности значительных объемов втянутого в орбиту их внимания материала авторы, безусловно, намерены отслеживать именно глобальные тенденции. Более того, они — посредством ныне представляемого издания — намерены активно их формировать. В частности, в этих целях они вытягивают экзотические слова из тех областей мира, что кажутся нам окраинами, и предлагают ввести их во всеобщий оборот (а заодно и нас с вами вывести из слишком жесткой идентификации себя с хорошо обжитыми этническими, языковыми, культурными группами), способствовать филологическому диалогу. И даже (создаваемым многовекторностью и полицентризмом словаря) «легким шизофреническим эффектом» (как говорит Игорь Сид) намерены не только портретировать вполне себе шизофреничный XXI век, но — куда более и важнее того! — «дезориентируя читателя <...>, оказывать на него терапевтическое воздействие, повышая его адаптивность в мире с непрерывно дрейфующими ориентирами».

Тут, конечно, самое время раскрыть некоторые карты (не все, не все). Дело в том, что автор этих, усиленно старающихся быть объективными, строк — и сам(а) в числе участников этого предприятия (к оправданию дерзкого принятия ею на себя роли рецензента пусть послужит то, что словарь в целом предстал ее взору, только уже будучи изданным, новым и неожиданным, — и только тогда все его

особенности стали, наконец, видны). Но тут уж автор спешит провозгласить, что ценностные основы и пафос этого издания он(а) разделяет всем сердцем и то критическое, что мог(ла) бы о книге высказать, — адресует и себе тоже.

(Тут рецензент снимает маску и начинает говорить от первого лица: теперь-то ведь можно?)

Так вот, мне, признаюсь, академизма, аналитичности и теоретичности в книге все-таки не хватило, а с ними иной раз ощутимо недоставало и основательности — родной сестры (согласна, не близнеца) глубины. А еще не хватило мне у каждой статьи, как это в словарях и энциклопедиях вообще-то заведено, хоть небольшого списка литературы, который позволил бы проследить историю рассматриваемых здесь понятий и разнообразие существующих взглядов на них (а заодно связало бы книгу с большими контекстами).

Ну, честно сказать, мне еще и венгерских слов тут не хватило (чего это африканские есть, а венгерских нет?), хотя могла бы постараться хоть одно раздобыть. А взамен того написала об одном вросшем в русский язык англицизме, но очень любопытном, между прочим.

Однако, во всяком случае, важно и интересно, что этот словарь активно втягивает в поле своего внимания лексику из неевропейских (неевроамериканских) областей мира, выявляя тем самым новые, практически не освоенные вниманием, источники смысла, и что он — словарь-процесс, созданный нарочно для того, чтобы наращиваться с самых разных сторон и ветвиться в самых непредсказуемых направлениях. Не будь он вынужденным печататься на бумаге, его бы стоило выстроить в форме — вращающегося и постоянно растущего — шара.

Уэр-уэр!

*Ольга Балла*

## Свои претензии адресуйте дьяволу

**Алексей ИВАНОВ. Тени тевтонов: Роман. — М.: РИПОЛ классик, 2021.**

Вообще, есть сильный соблазн прочитать новейший роман Алексея Иванова (того самого, автора «Географа», пропившего глобус, «Сердца Пармы», «Золота бунта»...) как текст более сложный, многоплановый и умышленный, чем тот, что упорно предстает поверхностному взгляду. Как-то даже жаль не прочитать его таким образом, поскольку потенциал у этого замысла — богатейший. Скорее, у его смысловой ауры, потому что сам по себе замысел, хммм... ну не очень замысловатый.

История приключений и злоключений представителей двух разных поколений польского аристократического рода Клиховских, разыскивающих по дьяволу наущению сокровище Тевтонского ордена — волшебный меч Лигуэт, которым была отсечена голова Иоанна Крестителя, вышла вначале в виде аудиокниги (даже — аудиосериала, в шести частях) и теперь обрела форму бумажной книги. Благодаря этому, к счастью, ее можно наконец читать в собственном ритме и собственным внутренним голосом, останавливая внимание на том, что на это напрашивается. Обыкновенно такое чтение идет книгам на пользу. Эта — не исключение.

Повествование двуплановое — в двух, неизъяснимым образом параллельных друг другу временах: 1457 год (с заглядываниями и еще глубже, в предысторию, и в 1410 год, и в 1310-й) — и середина мая 1945-го, первые дни после краха фашистской Германии. Объединяет две сюжетные линии (которым назначено просвечивать друг сквозь друга, не вполне совпадая, — они и просвечивают, и не совпадают) помимо — и даже прежде — розысков Лигуэта основное место действия: Восточная Пруссия. В первом временном пласте под натиском противника рушится столица Тевтонского ордена Мариенбург, и магистр — прихватив меч, — спасается бегством в Пруссию. В 1945-м советская армия захватывает город Пиллау, нынешний Балтийск, и оттуда бежит в Латинскую Америку гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох, которого ловят советские контрразведчики. Меч опять-таки принадлежит ему — не представляющему, с чем он имеет дело. В первом случае шляхтич Кастан Клиховский разыскивает меч, чтобы вернуть его дьяволу и избавиться тем самым от родового проклятия. Поскольку задуманное не удается, пять столетий спустя тем же самым занимается потомок Клиховского Винцент (поэтому за Кохом, соперничая и отчасти поневоле сотрудничая с советской контрразведкой, охотится и он). Траектория его поисков — независимо от его собственных усилий — обнаруживает множество признаков, общих с историей Кастана, как будто повторяет ее, а вместе с нею обретают свое повторение-

отражение — неточное, как бы смещенное — и другие события и персонажи того времени.

Вообще, у книги много черт, располагающих к медленному ее чтению, которого, может быть, автор не предполагал и сам. Что он точно предполагал, тут можно не сомневаться (и что в смысле соответствия жанровой модели вполне удалось), — это крутой экшн, с погонями, убийствами, загадками, расследованиями и преследованиями, со всем классическим набором признаков от таинственного зла до неминуемой любовной линии (множественных любовных линий, которые в некотором смысле все — варианты одной, главной). Словом, наличествует весь арсенал средств, выработанных и отточенных массовой культурой специально для того, чтобы у читателя захватывало дух, чтобы его не отпускало напряжение до самого — разумеется, неожиданного — конца. О да: чем ближе к концу, тем вернее все происходит именно так, делаясь все более похожим на сценарий блокбастера или — что, пожалуй, еще вернее — компьютерной игры. И будет даже удивительно, если по мотивам романа таковая не окажется созданной: весь необходимый видеоряд в книге прописан уже настолько подробно, что буквально предстает перед глазами: «Артиллерия, авиация и уличные бои превратили город в свалку дырявых и пустых коробок, полузасыпанных щебнем, битым кирпичом и черепицей. Балтийский ветер сдул дым пожаров и тучи пыли, и мертвый город лежал на полуострове, вывернув внутренности, во всем очевидном ужасе недавнего штурма. Над руинами торчала красно-белая башня маяка — маяк не тронули, потому что он служил ориентиром для русских бомбардировщиков. Воды утихших гаваней отражениями удваивали перекошенные надстройки и мачты затопленных судов. На площади у памятника курфюрсту беззвучно разевали рты старинные гвинейские пушки — они словно выли, взывая к небу: “Пиллау-у! Пиллау-у!..”»

Все это и вправду сделано крепко и ладно, с точным соблюдением жанровых требований (даже нескольких жанров: аудиосериал нынче, оказывается, уже всюю кристаллизуется как самостоятельная разновидность искусства со своими правилами, и Иванов сам признавался в том, что старался им следовать: в аудиосериале, говорил он, «авторская речь должна быть краткой, емкой и ясной, и слушатель всегда должен видеть за текстом картинку»<sup>1</sup>). Но, строго говоря, к литературным достоинствам в точном смысле слова этого не причтешь, что было замечено даже не критиками, а уже и так называемыми «простыми» читателями со вполне расхожими запросами и ожиданиями.

«Когда начал читать, — пишет автор одного из отзывов на книгу на «Лабиринте», — постоянно смотрел на обложку — это точно Иванов, тот самый Иванов? Уровень языка — комиксы марвел, сдобренные Википедией. Шаблонные герои, типовые диалоги, персонажи, обладающие сверхпроницательностью, куча роялей в кустах. И это автор Тобола, не говоря уже о Золоте Бунта или Сердце Пармы?»<sup>2</sup>

Ну, по совести сказать, в сторону массовой культуры Иванов двигался уже давно и уверенно: «Псоглавцы», «Комьюнити» и особенно «Пищеблок» были предыдущими остановками на этом пути, теперь, так и хочется сказать, приехали.

<sup>1</sup> <https://rg.ru/2021/01/14/laureat-bolshoj-knigi-aleksej-ivanov-vypustil-svoj-pervyj-audioserial.html>

<sup>2</sup> <https://www.labirint.ru/reviews/show/2260176/> Пунктуация и орфография здесь и далее — авторов рецензий.

*Борис Минаев*

## СКТВР и другие города

Спектакль «СКТВР», показанный Молодёжным театром из Сыктывкара в рамках «Золотой маски» на сцене МТЮЗа, привлекает прежде всего возможностью узнать то, чего ты в ином случае никогда не узнаешь. Сыктывкар (название спектакля — по хештегу в твиттере, это всегда пишется без гласных), Воркута, республика Коми — ну что мы об этом знаем: тайга, север, мороз, бесконечные лагерные зоны вокруг, шахтеры, газовики, суровый мужской труд, система исполнения наказаний, угрюмый народ и угрюмая природа... — так вот, изначально ты подсознательно ждешь, что спектакль будет переворачивать твои стереотипы. И если ты готов к переворачиванию стереотипов, — тебе сюда.

Стереотипам и вправду тут не место — вся сцена представляет собой залитое водой пространство. Ну, в прямом смысле слова — огромную лужу, мелкое озерцо, болото — называйте как угодно. Именно здесь существуют герои — по щиколотку в воде, иногда погружаясь в нее целиком, купаясь и плавая, совершая кульбиты и бухаясь на колени, они постепенно становятся мокрыми насквозь — часть зрителей даже пересели из первого ряда, чтобы не оказаться тоже в «водной стихии», — и надо сказать, что все это совершенно не случайно.

Я не знаю, кто первым придумал этот театральный прием: говорить со зрителем в буквальном смысле «из воды», — заимствован он или оригинален, но мокрый актер общается с залом совсем по-другому, чем сухой.

Окативший себя несколько раз, всерьез повалившийся в этом озере-болоте-луже, облепленный одеждой, — он и чувствует себя иначе, и иначе передает свои ощущения. Его внезапный выброс физиологической энергии безусловно передается зрителю.

Такие мощные образы не имеют, разумеется, одной разгадки, одного плоского смысла — и «читать» эту водяную историю можно совершенно в разные стороны: это и вечная грязь, вода под ногами у жителей провинциального русского города, где элементарно не хватает денег на уборку улиц, и особенности климата, географической зоны, и мифология, сама собой вырастающая из заповедных глубин — тайги, тундры, бесконечного леса и бесконечного болота: духи, ведьмы, странные люди, обладающие каким-то особым качеством характера. Недаром у спектакля есть подзаголовок — «Миф».

При этом сценография спектакля осознанно противоположна его словесной ткани: шероховатым историям обычных людей, жителей города Сыктывкара, записанным на диктофон, расшифрованным, переплетенным в единое полотно. То есть это спектакль-вербатим — модный ныне жанр, кочующий из одного города в другой. В данном случае — вербатим, который объединяет истории людей исключительно

по географическому признаку, потому что это именно местные, локальные истории, истории отношений человека и места, где он живет.

Грубо говоря, это спектакль, посвященный местному патриотизму, региональному менталитету и характеру.

Такой спектакль, например, довольно давно существует в Екатеринбурге, где я частенько бываю, и он проходит в автобусе — специальный театральный автобус, который идет по привычному горожанам маршруту из центра в район Уралмаша, и по ходу действия там рассказывают истории людей, которые когда-то работали на этом огромном заводе. Завод, кстати, по-прежнему в строю, но людей там теперь гораздо меньше, и сам район разительно изменился. А уралмашевский уличный «вербатим» — местные истории, персонажи, легенды — остался в целости, он сохранен не только в фольклоре, но и вот в этом экспериментальном спектакле. Существуют подобные постановки-вербатим об историях горожан в Воронеже и в других городах.

Кстати, о Екатеринбурге. Бывая там регулярно, разговаривая с местными интеллигентами, музейщиками, художниками, библиотекарями, просто жителями города, — я вдруг постепенно осознал одну интересную вещь. Я тут выше сказал о «региональном» патриотизме. Само-то слово заезженное, заплеванное еще во времена советской власти, да и сейчас сильно девальвированное. Но свято место пусто не бывает — где-то в душе должен существовать этот химический элемент, разные валентности должны как-то сцепляться в нашем мозгу — и вот на место «общего», тотального, вытравленного пропагандой, затоптанного штампами патриотизма встал другой — локальный.

Я и раньше, конечно, его замечал во время командировок — но раньше местные интеллигенты говорили о «своих» звездах театра и кино, литературы и искусства, художниках, о своих музеях, легендах, историях — как-то чуть стесняясь, даже стыдливо: ну да, мы понимаем, основной сюжет творится у вас там в Москве, но все же...

А вот сейчас интонация изменилась: с горящими глазами, с полной грудью, с чувством глубокой гордости рассказывают и о лучшем в мире Екатеринбургском театре оперы и балета, и об уникальной художественной индустриальной биеннале, и о расцвете рок-музыки, который без уральских рок-групп не состоялся бы в 80-е, и о музеях, и о писателях (а в том, что уральская особенная литература действительно есть, меня убеждать не надо). Да и деньги на местную культуру в этом пересменке, на переходе от одной эпохи к другой, наконец появились, и все пошло в рост.

Так вот, спектакль Сыктывкарского молодежного театра убедил меня в том, что тенденция по всей стране едина: местный культурный, гуманитарный, человеческий, неполитизированный патриотизм важнее общенационального — с его избитыми истинами, туманной и противоречивой мифологией.

Проявилось это и в спектакле «на воде», «СКТВР».

Все истории в спектакле разные, у рассказчиков совсем разные оптика, интонация, масштаб мысли, угол зрения — и тем не менее, все сливается, все скрепляется — и не только энергетикой актеров, «пляшущих» на этой северной, глухой воде, подсвеченной фонариками и голосами. Скрепляется оно, как бы это сказать поточнее, — искренней верой в то, что человек сам по себе — это ценность, ценность безусловная и непреходящая.

Причем это не декларируется прямо, не формулируется в лоб, не рисуется в драматургии намеренно, а следует из подсознательной логики чувства.

Ну, скажем, что объединяет рассказ человека, который вспоминает о сыктывкарских подростковых группировках 70-х или 80-х годов, об их нравах, когда старшие вступались за младших и устраивали показательные разборки, драки, избиения «чужих», а герой чем-то провинился перед какой-то из этих районных банд? И за него вдруг вступился весь духовой оркестр из дома пионеров, куда он ходил учиться играть на трубе? История потрясающая, но внешне она ничем не связана, например, с

# Summary

Olga Pogodina-Kuzmina. The Birds of War

This long-short story is about the events that took place around the Helsinki Olympiad-1952. Among the secret agents flocking into the city from many countries there is an agent of the American intelligence service Cyrus Cramp who had held an important post in Gestapo during the war and is guilty of the execution of German and French communists in June, 1941. The Soviet sportsman Alexei Nesterov exposes him. It was one of the first episodes of the “cold war” which was destined to go on for more than one decade.

The stories by Igor Kornienko “Mesopotamia” and Anna Pestereva “Box, Raptor, Me - a Shield” are about the unrecoverable aftermath of another, Chechen war. Its victims – both federals and civilians – equally blame themselves by their memory. Nonfictional stories by Alexander Rybin grow out of the impressions got by the author in the Balkans, Syria and Iraqi Kurdistan. These are the subjects rarely covered by mass media.

Judy Batalion. The Light of Days. Translated from English

This book is a comprehensive workup of the theme which is still poorly researched: the valiant participation of women in the Resistance movement of the Jewish ghettos during World War II. In Russian translation the book will be published in “ACT Publishing House”. We present here some small fragments from it.

Poetry

Grandsons of the soldiers of the Great Patriotic War Jan Brushtein, Ivan Volosyuk and Alexander Orlov are trying to imagine what their fathers and grandfathers had to come through at that dreadful war.

To the Memory of Ramis Ryskulov

To the memory of this great Kirgiz poet and artist are dedicated the publication of his wonderful vers libres in Russian translation by Vyacheslav Shapovalov and our insert: pictures of Ramis Ryskulov and the essay by Vladimir Lidskij about the naive painting of the poet.

Alexander Melikhov, Oleg Mackosha. Here and There

In their “Letters from Province to Province” the two writers are comparing the past century and this one.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнезниковский пер., 12/27)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин [Лабиринт.ру](http://Лабиринт.ру)  
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



6/2021

## Читайте:

**Марина Кудимова.**  
**Роман «Поля фильтрации»:**

*«— Понимаешь... Оправа боли — терпение. Как багетная рама. Терпение — ширма боли, ее грим. Врачи презирают тех, кто орет во всю глотку, хотя понимают, что такая реакция приносит иллюзию облегчения. Надпочечники адреналин выбрасывают. Предпочтение отдается пациентам, которые тихонько скулят и жалобно смотрят. У бабушки был артрит, непереносимые боли в ногах. Ничего не помогало. Знакомая докторица сказала: "В вашем возрасте уже все терпят". Еще она говорила: "Человека делает боль!" Так только Бог может сказать. Но врач и должен быть безжалостен, как Бог. Не зря в книге сына Сирахова писано: "Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего — врачевание, и от Царя получает он дар...»*

**Алексей Устименко.**  
**Повесть «Барса-Кельмес»:**

*«Любовь издалека куда безопасней ближней любви. Любви-соприкосновения. Не важно — к кому или к чему. К смуглой ли женщине, к идее, обещающей рай, ко всей Средней Азии или к коркам ржавых страниц засаленной древней книги под деревянной обложкой на защелке из медной петли.*

*Чтобы выжить — надо не существовать. Писатель Сергеев когда-нибудь напишет об этом обо всем. Ведь, действительно, всюду учат: возлюбите друг друга. Но не учат: отторгайте любовь, поскольку она убивает. Отторгайте любовь, чтобы спасти себя...»*

